

Дмитрий Романов

Из варяг в греки

набег первый



Дмитрий Романов

Из варяг в греки. Набег первый

«Издательские решения»

Романов Д.

Из варяг в греки. Набег первый / Д. Романов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-851626-9

Языческая Русь на пороге государственности. Первые столкновения с христианским миром. Когда могучая Византия поняла, что готовит ей север, а север учуял, какой дар может преподнести ему Царьград. Первый легендарный славяно-варяжский поход князя Аскольда, диалог меча и креста. История народа сплелась с историей простого человека, выходца из дремучих чащ Полесья, повторившего судьбу Одиссея. Сражения и странствия, коварство и любовь. Куда идёт человек? Куда — история? Неисповедимы пути...

ISBN 978-5-44-851626-9

© Романов Д.
© Издательские решения

Содержание

Часть I. Славяне	6
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Из варяг в греки Набег первый

Дмитрий Романов

© Дмитрий Романов, 2017

ISBN 978-5-4485-1626-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Славяне

С холма они увидели безбрежную чашу леса. Чёрные пики слились с чёрными небесами. Уже всюду разлилась ночь, и остался только мазок голубики на горизонте, куда ушло солнце, да охваченная костром поляна у подножья холма.

Великаны рогатые, карлики косматые, лещины и навки – тени ломались в хороводе на медовой траве, на красных стволах. Но трое парней, глядящих с холма, знали, что там, в душистом хвойном дыму пляшут никакие не навки, а их заветные девицы.

Любор широко улыбнулся, заметив белые цветы калины на голове одной – это она, его Малинка. Она сегодня днём рвала калину, он видел в селе. За плечо его потряс Витко, и потащил назад.

– Отпрянь, заметят! Ишь как зубы блестят!

Любор одурманенно глянул на друга – Витко переживал, но тоже улыбался. Наверное, и его белобровая Полеля, дочь кузнеца, тоже там, на поляне. Сегодня, в ночь на молодых русалиях, что перед Купалой, все девицы из их села должны там быть. Разве что у кого запретный день... Он нахмурился, отгоняя эту мысль: а вдруг запретные дни у его Малинки? Нет, не может быть!

Позади них захрустел ковыль – на холм поднялся грузный и мощный Горазд. Он тяжело дышал, но так же скалился, и глубинно рычал, исходя краской. Отерев пот с первых усов, он высунул язык и будто облизал небо перед собой.

– Вон они, сладкие наши, – пробасил он.

– Да тише ты! – шикнул Витко, – Заметят, разбегутся.

– Ну и как пойдём их ловить? – спросил Любор.

– Ты иди слева, где дубрава, ты, Горазд, тут постой, а я обойду с той стороны и на тебя их погоню.

– Ух, сладкие, – Горазд как не слышал его и только чесал вожаденно сырую от росы и пота грудь.

– Я начинаю гнать, ты помогай, а ты жди ловить. Всем ясно? – спросил Витко.

Любор кивнул. Он знал, что Витко, хоть и смерд, но умней княжичей, хоть мал да чёрен, а ума, что у князя сума.

Это Витко предложил соху гнуть, чтоб землю с борозды отваливать, да старики его измышление не одобрили. А ведь как славно было бы пахать с таким отвалом!

Это Витко от людоедов придумал башню на холме поставить, но жрецы не позволили, чтобы дома выше идолов тянулись. Однако он, сын княжий Любор, всегда с Витко согласен был. Вот как и нынче, чтоб девок загонять с поляны – прямо к парням в объятья.

А то ишь – расплясались – веселился Любор, поглядывая на поляну, и уже бежал с холма. На той стороне за кустами видел он, как Витко скачет вниз, как вихляет руками, плечами вскидывается. Ясное дело, юродствует, язык наружу, чует женский дух за версту. На холме, под огромным – из цельного дуба – идолом Перуна, притаился тёмный бугор – Горазд. Тоже храпит конём, уже и бес в него вселился. Любор впервые шёл к девицам, и переживал, что не сумеет должным образом и в себя впустить беса, чтобы тот помог ему не ударить лицом в грязь.

Интересно, какая она, Малинка, на ощупь? – веселился Любор, – жилистая и берёстая или тёплая, как вымя, что палец в ней утонет? Глазами щупай-трогай, а воздух мешает. Пальцем бы, губами...

Он уже ступал в дубраву и шёл легко без хруста и шелеста. Изок, первый месяц молодого лета, не колосил леса матёрой крапивой и осокой – как специально для свободы утех готовил чистые ложа под каждым деревом. И только комары со влажных топей одолевали.

Вот уж они крови напьются сегодня, окаянные, с голых-то ляжек – веселился Любор, представляя картины, которые распалили его ещё больше.

Он уже видел из-за ствола тонкие девичьи спины, на которые с голов сползали травы и берёзовый лист. Различал слов песен, хотя и не понимал их – бабье дело нанизать слово на слово так, как бусы, чтобы ничего не ясно, но зачаруешься.

Белые пальцы одной обвивают голый локоть другой, и хоровод сплетённых рук вот-вот порвётся. Но ладошки, привыкшие косить и молотить, сильны своей хваткой, румяные распаренные лица полны силой, и он уже видит, как крепкие женские ноги с маленькими, как пестик, пяточками, сверкают из-под рубах. Как в свете костра мокро блестят, секутся о траву голени, неистово вытаптывая призыв.

Где же Витко? Уже не вмоготу ждать, уже кипятки в животе шпарит, чешется, колется, и рукам места не найти. А девки скачут, девки выются, а искры летят, и небеса от них и от высоких сосен – все в дырах звёздных, прожжённые, как подол у костра. А над губами у девок блестят росинки, как теми звёздами измазанные... О, где же Витко!

Наконец, по ту сторону поляны затряслись кусты, через них ломилось что-то неуклюжее, но стремительное. Девушки порвали хоровод и принялись отступать от костра в тень. Любор приготовился выскочить у них из-за спины, чтобы погнать на Витко и уже вместе с ним – к холму. Он краем глаза заметил лицо Малинки и даже зашипел от радости, что она была здесь.

Но вот лицо её скривилось, она вытянулась в струну и закричала, визг подхватили остальные. А из кустов на той стороне вышел вовсе не Витко.

Их было с десятков, Любор не успел запомнить. В берестяных личинах от сглаза, в волчьих шкурах и рваных свитках, с острыми колючими в руках.

Людоеды! – Любор почувствовал, как ошпарило его грудь, а в животе теперь, напортив, похолодело.

Как в страшном сне, который бывает от грибного дурмана, они отделялись от лесной тьмы и заполняли поляну. Визг девушек быстро смолк, унятый чужими руками, и ловко крутились верви и полотнища, пряча горячие после плясок и костра тела.

Один из пришельцев подошёл к костру, у которого высился грибок деревянного идола Ярилы. Из поясной мошны посыпались к ногам идола зёрна. Чужак степенно поклонился и рыкнул богу приветствие. А затем огляделся, на миг задержавшись взглядом у зарослей Любора, но не заметил парня. Тихо, под глухое мычанье пленниц, личины растаяли в лесу.

Любор выполз на опушку, и в свете всё ещё сильного костра, заметил Витко. Его огромные, как два утиных яйца, глаза.

– Скорей! В Стоянице! – не владея дрожью, бросил Витко, – Надо рассказать...

Стояницей звалось их село, которому этот и окрестные леса, принадлежали по праву племени.

– Нет. Надо догнать их! – возразил Любор.

– Ты помутился? Их человек двадцать!

– Выследим.

– Ночью? – ужаснулся Витко, – В лесу?

Он исчез обратно в заросли, и уже хрустел камнями в гору. Любор пометался по поляне, наткнулся на венок белой калины, поднял его, обнюхал, и с горечью и стыдом начал смазывать слёзы со щёк. А затем бросился вслед за Витко. В Стоянице.

Перед княжьими сенями на выставленных скамьях сидели гости – купцы из далёкой карпатской Валахии. Они шли от самой Византии, гужевым ходом через болгарские земли до дунайских берегов, ладьёй по великой реке, но не возвращались домой, а выплыли в Чёрное

море, торгуя в его портах, и дальше по Днестру до первых городищ. Здесь торгова не получилось, ибо некому было покупать.

Тяжёлая дорога вилась меж выжженных и залитых кровью сёл тиверцев, и до самого Днепра купцы шли, не разжигая костров по ночам. Это бы привлекло половцев – вся приморская молва сейчас наполнилась вестями о новых набегах с востока. Каганат хазар был нынче тих, занимался своими делами на Таврическом острове, даже печенеги грабили где-то далеко, а, может быть, и грызлись на границах с хазарами, но вот половцы объявлялись в землях тиверцев уже второй раз за год. Не иначе, как местный конунг нарушил какой-нибудь важный договор, побил гонцов или грабил караваны там, где не было велено властными степняками. Восточная месть на крови, что уголь в стоге сена – не потухнет, пока всё в золу не обратит.

Но минули купцы и тиверские земли, и уличей, и даже в Киеве не стали мешки замирать – Киев нынче высокое мыто требует, а балованные поляне всё за полщены просят. Днепром прошли купцы на реку Сож, и вот среди густых лесов, поправших небеса, добрались до Стоянища и старого знакомца, князя Стояна, с которым не первый год имели торгов, и вся округа приходила, наивно веря в то, что по дружбе с князем купцы отдают им всё втрое дешевле, чем в том же Киеве.

Они прибыли этим вечером, и пока что распивали мёд, говоря о страстях и дивах долгой дороги – язык их был непривычен северным людям, но понятен. Князь Стоян советовал отдохнуть и пировать три дня, затем на три дня устроить торжище, и ещё день воздержаться от возлияний, дабы не возникло пропажи уже чужих средств, а затем отправиться на закат – к ляхам. Гости согласились.

Три костра горели на стогнах перед княжеской хатой, и при их свете купцы хвастались привезёнными тканями. Тут был и византийский миткаль, грубый, но прочный, и греческие аксамиты, прошитые золотыми нитями, такие тяжёлые, что не всякий муж смог бы носить плащ из этого толстого шёлка. Тут и персидская парча, и багдадский муслин, и бисерные паволоки. Но купцы знали, что местный люд живёт в простоте, и самые павы, будь то княжья дочь или жена – даже и те любят всё простое.

Женщины северной слови пышным расшитым платьям предпочтут белый лён рубах, высоким сапогам – простенькие черевья, обручам и бусам – витую гривну, но зато уж такого тонкого серебра, что ценнее и золота, и каменьев одним своим искусством. Так их край, их земля учит. Озёра, дубравы и разнотравье лугов – всё полно тонкой тишины, всё не броское, но величавое, спокойно знающее своей простоте высокую цену. И женщина, как отражение природы-матери.

И потому купцы хвастали перед Стояном и его старейшинами своим товаром, больше как друг хвастает другу, нежели как сбытчик покупателю. Купцы знали, что у Стояна можно хорошо поесть, крепко поспать, вдоволь утешиться с румяными невольницами, выменять задёшево много соболей, и уйти дальше по безопасным дорогам, которые охраняет его племя. А на ткани местный люд придёт больше поглазеть, как на диковину, нежели чтобы поскорей расхватать. Да и уж больно много стали эти новые кресты византийские вышивать, сколько парчи на них перевели, «а нам, старикам, солнцеворот привычней».

Когда Любор со товарищи добежали до села, князь уже позёвывал, вполуха слушая Средецкого гостя, а двое его гридней пускали дрёмную слюну под лавкой, и мёда в бочке оставалось на самом дне.

От топота в ночи князь выпрямил матёрое оплывшее тело, и схватился за кинжал. Купцы тревожно заворочались, взгляделись в темноту. Из-за плетня выскочили трое юношей, и один из них упал к ногам Стояна. Можно было без труда узнать сходство лиц сына и отца.

– Там в лесу! – хрипя одышкой начал Любор, – Людоеды!

– Где? – Стоян пьяно нахмурился, – Чего?

– У старой ляды, под холмом, – Любор указал рукой, – В лес ушли. Человек двадцать.

– А вы чего ночью по лесу рыщете, короеды! – прикрикнул Стоян, подымаясь со скамьи, – Жить постыло? Я тебя спрашиваю! Морок и дурман всё!

Стоян опасался, что вести о чужаках спугнут купцов.

– Отче!

– Признавайся, наелись грибов?

– Отче, клянусь... не морок.

– А ну встань!

Любор поднялся, а из тени к скамьям вышли Витко с Гораздом. Витко заговорил.

– Князь, они увели девиц. Малинку, Полелю, ещё много... всех утащили!

Стоян перевалкой подошёл к нему, глянул в упор, глянул на Горазда, охотно кивавшего словам друга.

– А, вот значит, какой морок у вас... За девками охотились, – и тут же выкатил глаза, – А выходит, ваших девок утащили? Лю... Так...

Князь встряхнулся, как собака после воды, потёр руками пьяное лицо и заходил. Он пытался собрать всё услышанное воедино и тайком пощипывал себя за кожу, чтобы проснуться.

– Конунг Стояне, – спросил один из купцов, – кто такие эти людоеды?

Тот не отвечал, но всё расхаживал пиная землю, накручивая вислый ус. Шапка слетела с его головы, обнажив выбритый череп со стружкой волос, бившей из самого темени.

– Звать сюда Усыню! Варуна! Всех звать, – скомандовал он, – А вам...

Он подошёл к Любору, замахнулся на него, но руки не опустил, а только рыкнул.

– Куда глядели? А?

Вскоре на площади между княжьим домом и теремом наложниц, где обычно летом происходили – днём бабы посиделки, а вечером мужское вече – было полным полно людей. Те, кто не ушёл плясать русалии в поля и к реке, кто не охотился за женским полом, кто не спал пьяным праздничным сном – явились сюда, хотя и помятые, хмельные и усталые после дня. Князь быстро и тихо говорил что-то сбежавшимся гридням, возражал седым старейшинам, махал руками. Казалось, весть о похищении отрезвила его. Народ тянул шеи.

– Чего говорят? Кого принесло? Эй, князь, молви всем!

И обиженно качали головами, что ничего не понять было. Только вдруг через толпу проехали несколько всадников, среди которых поселяне узнали княжича Любора, старшего брата его Первушу, двух товарищей его – Витко, сына пахаря, Горазда-богатыря, а за ними трёх гридней при всём оружии, самого князя и на могучей ломовой кобыле – кузнеца Варуна.

Последний, хотя и слыл самым мрачным мужиком в Стоянище, сейчас был ещё мрачнее. Витко, сватавшийся к его дочери, Полеле, не осмелился сообщить Варуну вести, и то за него сделал Любор, второй раз чуть не принявший удар наотмашь от старшего мужа. Варун порычал, потряс его за грудки и потребовал деталей. Любор сказал про личины и шкуры и ещё достал из кармана немного пшена, которое людоед насыпал идолу.

– Это полба, – фыркнул Варун, пересыпая зёрна из ладони в ладонь, – Такой голодомор только древляне растят. Зачем им хлеб, когда человечину жрут... Они дочку мою взяли, стало быть... Ничего, далеко не уйдут.

Любор понял, что хмурый Варун был на грани – впервые он произнёс так много слов.

Всадники погнали коней в ночь, никому ничего не объяснив, и тем посеяв в толпу шепотливый перепуг. Только одно всё повторялось: «людоеды».

Трое младших гридней, прислужников князя, не пили мёда в эту ночь, поскольку караулили терем. В тереме – двухэтажном доме с резными пышными наличниками и конками, который простые люди, жившие в землянках, называли «шишкой» – обитали женщины-рабыни, княжеские наложницы, некоторые из которых были его младшими жёнами. Охрану им ставили из шестнадцатилетних юнцов, не столь ещё смелых до женских красот, а раньше – из евнухов.

И вот трое молодых ребят, пуча глаза в страшную чашу леса, покачивались в сёдлах и тихо переговаривались о людоедах. Князь услышал ломкие голоса и решил поучить юношей.

– Что, малки, боитесь?

– Нет, княже. Но знать бы, кто эти людоеды?

– Ничего, пошлют боги – узнаете, – ухмыльнулся князь.

– А какого они роду-племени?

– Роду не знаю, кто их разберёт. Говорят, ложатся дочь с отцом – какой уж тут род.

А племя ясное – древляне они. Потому как живут в лесах, где ни пахать, ни пасти, а только зверей бить.

– А почему людоедами их называют?

– Потому что ничего, кроме мяса не знают. Солнышку не кланяются, землю не ласкают, а кто от земли не кормится, тот хуже зверя. Ничем не побрезгует. А съешь медвежью печень, станешь силы медвежьей. Это все знают.

– Чур-чур-чур, – заголосили молодые, чертя в воздухе защитные знаки от медведя.

– А если человечины съешь...

– То что? – спросили они хором.

– Мясо человечье в брюхе огнём горит, как трава сквозь камень, через жилы прорастает, и в одном теле уже два, а то и три сидят. Сила растёт, да только сила та огненная, и кто её в себе носит, муки страшные имеет, как бы угли горящие, но не сжигающие. И от того лица у них волчьи, челюсти широкие, зубы что жернова, чтобы мясо рвать, а глаза, как у мертвеца – дыры чёрные. Отведаешь человечины, перестанешь быть тем, кого мамка родила, – князь выпучил глаза.

– Это как?

– Лихо в тебя вселится.

– Какое лихо? – не унимался юнец.

– А вот какое!

Стоял размахнулся и хлестанул своим кнутом круп ближайшей лошади. Под его сиплый смех та понесла гридня в кусты. Остальные из уважения к князю подхватили смех, но как только он надал вперёд, испуганно переглянулись.

– Ты веришь, что древляне и впрямь едят людей, с дочерьми ложатся и железа не знают? – спросил один другого.

– Верю.

С поляны, где всё ещё, будто облитые ягодным варом, розовели угли, всадники въехали в лес. По нему идти было не далеко, и когда темень сучьев расступилась, они оказались у реки. Здесь на прибрежных ивах призрачно светились белые ленты – дань русалкам. Девушки повязали их перед тем, как пойти на хороводы, поскольку хоровод – дань Яриле. И каждая девица приносила себя богу в дар.

– Вот сами и посудите, – бросил князь гридням, когда те поравнялись с ним на берегу, – Вырвать дар из рук богов – может ли человек позволить себе? Только зверь...

Услышав это, Любор вспомнил россыпь скудозёрной полбы у ног идола. Но обдумывать сказанное долго не пришлось. Посланный вперёд Горазд, как лучший следопыт, возвращался, размахивая руками. Всего в одном пролёте стрелы вниз по берегу он заметил в камышах провал, а на том берегу – такой же смятый камыш и угол плота, неряшливо и неумело спрятанного в заросли. Да и сам плот был собран из берёзы, что сияла в темноте, корой отражая лунный свет.

Всадники направили коней в воду, и те легко взяли переправу по слабому течению. Плот оказался большим.

– Видимо, набег задолго готовили, – заметил Витко, – Значит, рядом становище.

– С чего ты взял? – спросил Любор.

– Древляне живут далеко. К нам заходили в последний раз, когда я ещё ребёнком был. А всё почему?

– Ну?

– Трудное это дело. Одним днём от их земель до наших не пройти, даже на конях. Значит, надо поход готовить, а это дело трудоёмкое. Тем более для дикарей. Но для чего им это?

И, помолчав, добавил, словно осенённый:

– А, может быть, они куда-то идут. Всем племенем...

– Он прав, – перебил его Стоян, – Людоеды могут сподобить себя на засаду или грабёж, но для набега ума у них маловато.

– Тогда это похоже на то, что они пришли сюда жить, – заметил Любор.

– Нет, это глупо даже для них, – возразил Стоян, – Скорее всего, они идут в Киев.

– В Киев! Зачем? – удивился Любор.

Стоян помолчал, оправляя тяжёлую от речной воды набухшую сбрую.

– Эй, Первуша! – позвал Стоян, – Дай-ка мне отпить. Вина взяли? Вот и молодцы! А то голова бузить начинает...

Стоян поспешно отъехал от Любора, и Первуша, нескладный и высокий, как жердь, остриженный по-славянски кружком, протягивал ему свой бурдюк.

– С чего отец про Киев заговорил? – удивился Любор.

– Не суй ты носа, – тихо заметил Витко, начавший подозревать неладное.

Они двинулись по косогору, над рекой, и с холма поняли, что Витко оказался прав – зоркий Горазд заметил струйку дыма над тёмным морем деревьев.

– Примерно пять гонов¹, – заключил Горазд.

– Совсем близко подошли, – согласился Любор.

– Говорил я, надо было башню ставить – давно бы увидели их, – бурчал Витко.

– Сыне, – позвал Стоян, – бери кого считаешь нужным, идите проведайте, что там такое.

Горазд и Витко сами первыми спрыгнули с коней. И Любор впервые подумал, что вот брат его Первуша, старший сын князя, всегда отсиживается за широкой спиной Стояна. Так и теперь – не он откликнулся на призыв отца, хотя тот намеренно не означил, какого сына из двух он кличет. Бережёт отец главного наследника, даже в битву ни разу не пускал. А что за князь будущий, который славы себе не добыл? Зато Любора Стоян не жалел, и от того с малых лет рос он сорвиголовой, и даже нос у него был самым длинным в роду – признак любопытной природы. Пусть и из смиренной породы.

Они взяли только короткие копыя – в лесу не размахнёшься. Но и то на крайний случай, если придётся спасаться бегством. Разведчики должны были всё сделать тихо, и потому они переобулись в кожаные опанки – лёгкие стянутые сверху лыком башмаки, в которых ясна каждая звонкая веточка под ногой, и сняли рубахи, могущие зацепиться за куст. Пробираться по лесу ночью было не впервой, а звёзды ясно виднелись в прорехах меж кронами, указывая нужную сторону.

Впереди блеснуло пламя костерка, и Горазд, шедший впереди, выставил руку – затаиться. А сам взобрался на дерево, и с высоты рассмотрел полянку, на которой светилось три костровища. Вокруг вповалку лежали люди. В центре поляны темнело три шалаша – очевидно, времянка вождя и приближённых. У опушки шевелились тени караульных.

Решено было подкрасться как можно ближе, чтобы сосчитать людей. Когда их разделяло полсотни шагов, Любор заметил движение в стороне – один из караульных удалился в лес. Любор дал товарищам знак ждать, а сам пошёл наперерез тому. И когда караульный, обойдя

¹ Гон – мера расстояния, которое проходит животное, впряжённое в плуг в одну сторону при возделывании пашни, приблизительно равная ста метрам.

по кругу большой дуб, распоясал кушак и спустил портки, уже готовый присесть на корты, из мрака к его горлу подплыло лезвие судлицы².

– Ты будешь говорить не громче моего, – прошептал ему Любор, подцепив его копьём за шею и выпрямив перед собой, – Зашумишь – убью.

Караульный кивнул, тут же обрехался о лезвие, вздрогнул, но звука не подал.

– Кто вы такие?

– Древляне мы, – ответил караульный.

Они, как и все славяне и скандинавские русы, понимали друг друга.

– Сколько вас?

– Тут мало. Пятнадцать воинов, княжич, три его жены, и ещё пять женщин.

– Зачем вы тут?

– Идём до Киева.

Любор нахмурился.

– Через наши земли?

– Кораблей на всю дружину не имеем, вот и часть пешими отправили.

– А что в Киеве? Войной идёте?

– Нет. Аскольд, князь Киевский, зов дал. На Царьград за море по весне идёт, а теперь племена созывает со всех концов. Вот и нас позвал. Мы, древляне племя вольное, дань не платим, нам и награды больше выйдет. А вы разве...

Любор напряг копьё, и караульный зашипел, выгибая шею.

– Тихо!

Они прислушались – в становище было движение. Наверное, долгое отсутствие товарища заинтересовало остальных. Так и было – с поляны позвали.

– Тебя кличут? – спросил Любор.

– Меня.

– Отвечай. Скажи, идёшь.

– Да тут я! – вяло отозвался караульный, косясь перепугано на Любора и древко в его руке.

С поляны отпустили шуточку про кишки и рассмеялись.

– наших девиц куда увели? – продолжил Любор.

– Не знаю о том. Перуном клянусь, не знаю.

– А где ещё ваши тут?

– Остальные ушли. А нам ждать велено малую дружину княжичеву, и утром тоже уйдём.

Никого не тронем.

– Не тронете? – зашипел ему в лицо Любор, – Лжец! Вы уже руки запустили. Куда направились те, кто ушёл? У них наши жёны.

– Не ведомо. Кто ж мне-то скажет, сам посуди. Ну кто я такой?

Любор поставил караульного на колени и вознёс копьё.

– Если ты никто, и ничего не знаешь, то к чему землю топчешь и небо коптишь?

– Не убивай! – захрипел тот, падая лицом в ноги Любору, – Клянусь, Перуном, Сваргой, матерью сырой землёй! Не знаю, куда увели девиц. Да и не найдёшь уже. То были, видать, остатки, кто сзади шёл, да полакомиться решил, свернул к вам. Они уже догнали дружину, уже до кораблей дошли, и утром, глядишь, в Киеве будут. Пощади. Забудь ты девок, увели, не воротись.

– Ах ты скот...

– Клянусь, не ведаю. Ну хочешь, вон возьми, – он кинул рукой в сторону поляны, – У нас там есть...

² Судлица – обоюдоострое славянское копьё.

– Вы что же, девок с собой тащите воевать?

– У нас и девки при оружии, а как же, – в шёпоте чужака послышалось удивление.

– И правда дикари, как отец и говорит. А людей зачем едите?

Чужак приподнял лицо и непонимающе взглянул на Любора.

– Чего тут? – послышался голос сзади.

Любор обернулся и увидел Горазда с Витко. Тут же, улучив момент, древлянин вскинулся на ноги и кошкой распластался над землёй – прочь. Но Горазд уже держал стрелу на тетиве, и прежде, чем чужак успел достичь зарослей, в спине его торчало пернатое древко. Второе следом вошло в шею, и только страшный беспомощный писк смог выдавить караульный. На поляне того писка не слышали.

Они вернулись к своим, рассказали об увиденном, и Стоян решил, оставив лошадей, войти в лес и напасть на становище. Перерезать всех, пока те спят. У него был десяток людей, там – в два раза больше, но внезапность, как известно, сражается за сотню бойцов.

– Отче, – Любор шёл рядом с ним, – Знал ли ты, что Аскольд, князь Киевский, созывает племена в поход на Византию?

Стоян недовольно оглядел его.

– Правильно тебе друг твой говорит – не суй носа, куда не след.

И поторопился обогнать Любора, нырнув под тёмную сень дубравы, где мерцала белым пятном спина Горазда.

Они разошлись дугой вокруг заветной поляны, и в этот раз не прозвучало священное «Слава Перуну!», не трубил рог, но всё кралось, как змея, и в ночи слышались сначала – хрипы перерубленных глоток караульных, потом запоздалые крики спящих.

Видимо, их было больше двадцати – Любору показалось, что вокруг не осталось ничего, кроме боли, хруста пронзаемой плоти, и воплей. Бесконечно долго, бесконечно много раз, словно одного за другим его соплеменники уничтожали сотню беспомощных людей. Вот один вскакивает с ложа, пытается понять, что случилось, и уже нащупывает в животе древко копья. Вот другой совершенно нагой, отползает в красные угли костра, путается в траве, и уже нет его. А вот женщина, вторая, третья – выбегают из шалаша, как пчёлы из потревоженного улья. С растрёпанными косами, водят руками в ночи, и их колет в грудь Стоян, Первуша, сопливые гридни, даже Горазд пускает в них стрелу.

Любор оказался у такого шалаша, и решил не трогать его, а пойти поискать противника мужского пола. Но противница женского сама нашла его. Размётывая ветви над входом, синяя от лунного света, из шалаша выскочила девица – он заметил косу, обёрнутую вокруг шеи, а в руках её – короткий топор. С визгом размахнувшись, она ударила ему в голову, но Любор отскочил. Однако потерял равновесие и завалился на одно колено, и тут же получил коленом в нос. Обожгло, зазвенело, и всё враз вымокло в крови. Он отмахнулся копьём и попытался встать, опершись на него. Как почувствовал, что древко перебито пополам, и у глаз мелькнуло лезвие топора. Уже падая, он успел выкинуть ногу так, что попал ей в колено, и попал удачно – девица повалилась рядом с ним, выронив топор. В голове крошились горы, тупая боль резала глаза и глотка наполнилась вязким железом, но всё же Любор успел подняться быстрее неё и поднять с земли оружие. Она, скользя в траве, отползала, белели в оскале крепкие зубы, и он успел разглядеть тонкие брови, и узкий нос, всю хрупкость её головки, похожей на яичко. Если бы не этот оскал, такой лишний здесь!

На миг он остановился, не веря, что может убить её... Как из мрака вышел кузнец Варун и накинул ей на шею петлю. Тонкие пальцы заскребли по узлу, она пыталась задрать голову, чтобы сделать вдох, но Варун тут же ослабил хватку.

– Со мной пойдёшь, – бросил он ей, и поглядел на Любора с презрением, словно тот ударил лицом в грязь перед девкой. Словно он не смог бы победить...

Любор со злостью швырнул обломок судлицы в костёр, и смотрел, как кузнец уводит на привязи девицу, и как та припадает на отбитое колено, держась руками за петлю на шее. И всё стояла перед его глазами точёная тонкость её лица. Совсем не воительницы, нет.

Люди Стояна бродили по поляне и, проверяя, нет ли живых, били копьями в лежащие тела. Удалось взять двоих пленных – эту девицу и караульного, которого в самом начале схватки оглушили булавой так, что он пролежал лицом в траве до конца, и только сейчас приходил в себя. Его трясло и рвало, и Первуша уже хотел пустить в ход свой топор, но князь запретил.

– Нам нужны сведенья, а не мертвецы. Как только эти двое всё расскажут, тогда хоть четвертуй. А пока заберём.

И обратился к пленному, присев рядом с ним.

– Ну говори, если жить хочешь. Где ещё брат ваш ходит?

Из тех путанных слов, которые сумел выдать сотрясённый мозг пленника, Стоян сделал вывод, что ещё одна стайка древлян, такая же числом, должна стоять недалеко от Получья. То было село в одном поприще пути от них, и, стало быть, отряд их успел бы дойти к нему до утра.

Викто, слышавший мутную речь древлянина, сделал другие выводы и обратился к Любору:

– Лучше бы тебе просить отца не ходить на Получье. Я думаю, князь хочет лёгкой крови, и раззадорился после такой быстрой победы. Но вряд ли на Получье кто-то есть. Если они идут через леса к ладьям на реку, то скорей возьмут к рассвету, а Получье напортив – на закате. А если решат идти пешей ровной дорогой, то всё равно туда не сунутся. К чему им влезать в болота? Смотри сам, княжич, но таково моё мнение.

Любор ощупал раздутый нос, из которого всё ещё капало, и усмехнулся.

– Если тебе хочется скорей домой и на лежак, можешь сам с ним поговорить.

Витко махнул рукой и только проворчал.

– Моё дело совет дать. Никто никогда не слушает... Так и живём. Ни Полели, ни Малинки не найти нам, стало быть.

Он вообще, как и все философы, и поворчать любил, и отпустить умел.

Получье, которое даже и название своё получило от речных излучин и ручьёв, пронизавших леса, окружали топи, и под ногами хрустела зелёная ещё неспелая болотная ягода. Душная влага стелилась в воздухе, и любой мало-мальски знакомый с лесами человек заключил бы, что повсюду тут трясины, и водить по ним дружину смерти подобно. А уж древляне, жители деревьев, знали это лучше всех. И смыслённый Викто только горько посмеивался.

Село было крайним в землях Стояна, и в уже двух поприщах отсюда, к северу, начинались земли дреговичей. Народа мирного и тихого, и почему-то имевшего страсть к такого рода местностям – возможно потому, что пояс болот надёжно охранял от нападений. Но и кочевали они реже. Если племя Стояна каждые четыре года уходило на новые места, сжигая землянки и острог, и давало пахотной земле отдохнуть от урожайных родов, дреговичи цепко держались своего клочка, свободного от топей и лесных корней.

Получье мирно спало, ни струйки дыма не поднималось над ним и – сколько глаз хватало – над лесами да болотами тоже было чисто. Даже плясуньи и купальщики, вся молодёжь, что этой русальей ночью гуляла на полянах, уже разошлась – кто парами, кто в одиночку, не найдя своего, а кто и кучками, хмельные от любви и мёда. И отряд Стояна миновал свежий, пахнувший деревом частокол, въехал в тихое село.

– А где же людоеды? – ехидно спросил Витко, и никто не отвечал ему.

Стоян слез с коня у хаты старейшины и постучался в низкую дверь. Хата была больше сродни землянке, какие накидывали ещё деды Стояна, и только крохотные сени, да окошки, обтянутые бычьим пузырём, делали её похожей на дом самого князя. Хотя всё больше теперь

распространилась от карпатских гор готская манера класть срубы, да и русы привезли со Скандинавских островов свою деревянную хижину, и теперь она завелась по всем славянским землям.

Согнувшись в дверях, на пороге появился сам старейшина.

– Доброй ночи, Любогост, – приветствовал его Стоян.

Тот огладил седую бороду, близоруко щурясь, признал князя и низко поклонился, держась за поясицу.

– И тебе светел путь, княже. Что привело тебя в ночи?

– Слышать, поблизости древляне рыщут.

Любогост поводил бородой.

– Ничего не слыхали, – и боязливо добавил, – А что, князь, думаешь, разбудить мне мужиков?

– Да уж если не слыхали, то и ладно, – улыбнулся князь, – Оно же лучше.

Любогост непонимающе оглядывал всадников за спиной Стояна. Луна пряталась за облако, и чтобы видеть, Любогост велел вынести из дому толстую свечу.

– Не сердчай, князь. Нынче праздник, дозора в леса не посылаем. А так-то тишина.

– Мы с похода, – ответил Стоян, – передохнём у тебя.

– Такому гостю тут всегда рады, – Любогост неумело скривил улыбку, – А вы, воины, идите за мой дом на стогны, сейчас велю зажечь огонь и принести вам мёда.

Люди Стояна расселись на широких лавках вокруг большого костра, к ним, позёвывая, присоединился старейшина с двумя сыновьями. Рабы-дреговичи раздували в горе углей потухший с вечера огонь, несли чарки и кувшины.

Горазд впивался глазами в крутобоких молоденьких невольниц, и пихал локтем Витко.

– И впрямь, хорошо бы тут отдохнуть.

– Мы пробудем тут до полудня, – сказал Стоян, – Уверимся, что древлян поблизости нет. Он поведал Любогосту о побоище на лесной поляне и словах пленного.

– Но скажи мне, Любогост, – спросил он, – где те трое греков?

Голубые и зелёные глаза с лавок уставились на князя.

Любогост подавился кашлем и принялся оглаживать бороду.

– Двое исчезли, князь. Третий в яме сидит, – выдохнул он, не смея смотреть на князя.

– Исчезли? – Стоян отставил чарку, – В яме? Объяснись, хозяин!

– Моим людям не понравилось, что твои греки сокрушили наших богов. Дажьбог и Велес вон там стояли на холме, рядом с воротами. Теперь их там нет.

– Греки как-то ночью подкопали, да вытащили, – кивнул детина-сын.

– И по реке сплывили. Ищи теперь на топях-то, – присовокупил второй.

– И что сделали с греками? – спросил Стоян.

– Одного, который Филипп, схватили и кинули в яму. Двух других... не знаю, князь.

Никто не говорит.

Любор, внимательно слушавший разговор, спросил отца.

– Что за греки, отче? И почему он говорит, что они твои?

– Люди, сын. Такие же, как и мы с тобой. И так же доверяли хозяевам.

– И христианские жрецы, – робко добавил Любогост, – Слышал о таких?

Любор неуверенно кивнул.

– Я разрешил им жить среди нашего племени, – сказал Стоян, – А теперь выясняется, что Любогост совсем не соответствует своему имени...

Стоян выдержал паузу и смерил седого старейшину суровым взглядом.

– Но если бы они не трогали богов! – возразил Любогост, – Разве так платят за гостеприимство?

– Они хотели, чтоб мы поклонились их богу, – вставил сын старейшины, – Разве нам нужен новый бог?

– А ну помолчи! – бросил Любогост через плечо, и продолжил, – Сам посуди, князь. Если бы жили мирно, никто бы не трогал их, и пусть молятся кому хотят. Слишком горячие эти твои христиане. Всё-то их не устраивает.

– Ну-ка, – Стоян, упершись в колени, грузно поднялся, – Покажи мне яму со жрецом. А за тех двоих, смотри, Любогост, как бы тебе не пришлось отвечать лично!

Любогост, буркнув под нос «велика честь», велел сыну проводить Стояна до ямы. А когда те ушли, обратился к Любору и Первуше.

– В чём же я виноват, дети? Ваш отец слишком уж любит этих греков. И неужели он ничего не говорил вам про них?

– Ничего, – ответили братья.

Любогост поплескал в чарке медовуху, хлебнул, огляделся, чтобы Стоян ничего не услышал, и повёл рассказ.

– Вы же знаете, что наш род пришёл сюда из земель Моравии?

– Да, – ответил Первуша охотно, – Это было ещё давно, когда бог Троян с римских берегов ходил меж людей!

– Верно. И ваш отец ходил в Моравию кланяться святыням, когда вы ещё с мамкой жили. Там есть рощи и камни богов, которым он клал жертвы. Все знают, что когда Стоян был молод, он и до Арконы добирался, и резал козла самому богу Святовиту! О, наш князь много хаживал... Но в этот раз в Моравии он встретил христиан. Моймир, царь Моравский, велел всему племени – от чехов до ляхов – принять этого нового бога, а от старых отказаться. Конечно, не все послушались его, и горькая участь ждала людей, верных нашим исконным богам! Стоян видел, как Моймир строил там капища для нового бога. Он называл их «церкви», и они были высоки и крепки, в них вносили много золота и даже серебро, и парчу и аксамиты, а жрецами Моймир посадил в них греков. Ох уж эти греки... Ваш отец много говорил с ними, поскольку те учили наш язык. Они сумели так заговорить его, что с собой из того похода он привёз не каменя, не кольчуги, и не хорошеньких рабынь, а троих греческих жрецов.

– Почему же он привёз их сюда, а не к нам в Стоянице? – удивился Первуша, – Наверняка, это хорошие люди, раз понравились отцу.

– Почему он никогда не рассказывал об этом нам? – спросил Любор.

– Князь Стоян хочет заручиться поддержкой Царьграда. Хочет власти над всей землёй по Днепру и дальше, и чтобы она не досталась Киеву. Такая тяга к власти достойна великого воина и хозяина пашней, – согласился Любогост, – Но что, если для этого он и нам скажет отречься от наших богов и принять бога ромейского?

В наступившем молчании трещал костёр, и издали слышалась брань Стояна. Он извлёк из смердящей ямы грека-черноризца и теперь выражал негодование.

– Так вот почему отец не откликнулся на призыв Аскольда Киевского! Он хочет послужить христианскому Царьграду, – сообразил Любор и глянул на Витко.

– И не надо длинного носа иметь, да? – спросил тот.

– Мы могли бы пойти вместе с ними грабить Царьград, – загорелся Любор, – добыть себе столько славы, что потомки из рода в род передавали бы её, и она бы не оскудевала! Мы могли бы...

– Что? Идти плечом к плечу с людоедами? Может, князь и прав. Разве не нужен нам крепкий союз с ромеями? – спросил Витко, но Любор уже ничего не слышал, и глаза его ярко отражали огонь.

– Да, мы могли бы... Представь себе, как о нас бы заговорили! Русы и варяги сложили бы песни о нас!

– А теперь князь хочет наказать меня. И за что? За верность? – с горечью спросил старейшина и помотал седой головой, – Но тихо, дети... Я сказал вам это лишь потому, что силен тот, кто ведаёт, а я хочу, чтобы вы были сильны. Ведь вам править после Стояна.

На стогне появился князь, он вёл под руку худого бородатого человека в чёрных лохмотьях и мятой скуфейке на голове. Человек был бледен, и острый нос горбатился синюшным переломом. Запахло отхожим местом. Позади уныло плёлся сын Любогоста, видимо, отхвативший уже княжеской десницы своим затылком.

Стоян подвёл грека к огню и тяжело посмотрел на Любогоста.

– Скажи, Филипп, кто сделал это с тобой и братьями твоими?

Грек тоскливо поднял глаза и увидел скуластые грозные лица глядящих на него славян. И красные перепуганные глаза Любогоста.

– Не знаю, кнес, – вздохнул он, – Кто бы ни сделал, Бог простит.

– Эх ты, – буркнул Стоян, – мягкая шкура... А ты, Любогост, знаешь, кто?

– Нет, князь. Разве кто скажет? Неужто всё село накажешь?

Стоян пожевал губу.

– Ну а ты как допустил? – он ещё хотел прикрикнуть, но всё же Любогост был гораздо старше, а почтение перед годами почти равнялось почтению перед богами.

– Как скажет Филипп, так и сделаю, – заключил Стоян, – Что, грек? Как наказывать будем?

– Простим, – ответил тихо грек.

Со скамеек послышались смешки. Любогост на радостях осушил чарку.

– А ну цыц! – крикнул Стоян, – Вы слышали? Великодушен сей гость. Хозяевам не под стать. Заберу у тебя великодушного человека, Любогост. Имя бы твоё забрал тоже, да в яму ту спрятал, ибо не достоин ты его. Недобрый ты хозяин.

Он положил руку на костистое плечо грека.

– Пошли, Филипп. Эй, рабичи, нагрейте-ка воды, да купель поставьте.

Собравшиеся у костра постепенно расходились искать мягкого сенца для ночлега, и только Любор всё сидел и хмурился в огонь. Никогда сердце его ещё не наполнилось такой тоской, никогда не было, чтобы в один день, а, точнее, в ночь, боги повергали на него столько немилостей. Вот кричит Малинка, и чьи-то руки хватают её тёплое полное молодое тело и волокут в лес. Вот кузнец Варун отбирает у него победу и трофей, а вот отец считает его недостойным своих тайн. Какая-то игра ведётся у него за спиной, и всюду недомолвки, хитрость. О, не карают ли боги его – сына, за то, что их предаёт его отец?

Чарка опустела, а Любор хотел бы напиться ещё, чтобы свалиться прямо тут, под лавку, и сбросить тягу мыслей. Но он знал, что придётся носить её до утра, пока утомление не свалит его с ног. Возможно, он заснёт в седле.

Чтобы как-то отвлечься, он решил заняться конём. Вывесить у огня седло и сбрую, промокшие в реке, найти ему зерна, а ещё – срезать новое древко для перебитой топором судлицы. За околицей как раз рос орешник, а небо уже светлело.

Обходя низкие крыши землянок, Любор увидел Варуна. Тот полулежал на земле спиной к нему, и напротив него, обхватив руками колени, сидела пленница. Она была привязана к столбу за шею, как коза, и не могла встать. Варун что-то пьяно ворчал и пытался неверной рукой взять её за подбородок. Но она прятала лицо в колени, и он усмехался, глядя на неё снизу вверх. Любор поспешил к коню.

А когда проходил обратно, Варун храпел пьяным сном, отвалившись навзничь. Было уже светло, и Любор рассмотрел серое лицо пленницы. Он мог бы поклясться на богах, что никогда не видел таких прекрасных черт и невольно ждал, пока она посмотрит на него. И когда зелёные глаза прожгли рассветный сумрак, с первыми лучами кинувшись рысью ему в самое сердце, Любор понял, что просто так не сможет оставить её.

Он отбросил срезанное древко, и пошёл к девушке. Та дико глядела на него с земли, но не прятала лица, как от Варуна.

– Пойдём со мной, – прошептал он, сглотнув ком, и чуть не споткнувшись на последнем шаге.

Она улыбнулась, но улыбка переросла в крепкий оскал, и девушка зарычала, как зверь.

Любора это разозлило, и от ярости в теле проснулось острое желание женщины. Он принялся отвязывать её от столба, и оглядывался, подыскивая укромное место за околицей или в чьих-нибудь сенах, куда бы затащить её.

– А ну брось, – послышался хриплый бас.

Любор обернулся. Кузнец привстал на локте и у голени его сверкнул засапожник. Варун, хоть был и в летах, но огромен, плечист и на голову выше Любора, к тому же вооружён. И Любор знал, что кузнеца ему не одолеть, пусть даже тот и пьян. Пьяный, что вебрь – раны не чует. И Любор с позором поспешил прочь.

– Эй, – его окликнул Горазд.

Он теснился меж стогов сена, и улыбался.

– Иди сюда.

Горазд не отличался острым умом, как друг его Витко, и из всей их троицы был самым диким. Но, видимо, близкий к природе, он лучше всего понимал и природные потребности людей. Вот и сейчас Любор, подойдя к стогам увидел, что у Горазда из-под мышек торчат две женские головки.

– Хороши рабынюшки, – хмыкнул Горазд, щедро подталкивая одну из девиц к Любору в объятья.

Ну да, не Малинка, – думал Любор, закапываясь с девкой в сено, – ну да, не эта зеленоглазая... Но а что, если представить, что они? И удивлялся мягкой нежности и тому – сначала пугливому, а потом сладкому – трепету, с каким принимала его невольница.

Тихо минуло утро, и когда, уже отобедав, отряд Стояна собирался по коням, долго не могли найти Варуна. Но вот под удивлённые крики он показался у ворот. Мокрый от пота, с заткнутым за пояс топором, он тащил на спине огромное бревно. Затащив его на холм, опустил один торец в уже готовую яму, и тут всем открылось лицо, вытесанное на бревне. Усатый плосконосый Дажьбог, – бог, дающий блага, – в змеевидных руках держащий рог и серп. Всё было высечено грубо, на скорую руку, но угадать идола смог каждый. К тому же, высекать из дерева богов имели право далеко не все. Кузнецы же издревле чтились как люди посвящённые в надмирные тайны, и имели право на изображения кумиров.

Варун вновь ушёл за рощу, и князь не стал его торопить. Скоро он притащил ещё одно бревно и установил его рядом. Это был Велес.

Никто из людей Получья не брался помогать ему, на лицах читалось недоумение и праздное любопытство. Когда Варун, шатаясь от утомления, склонил голову в бочку с водой, Любор спросил у старейшины, от чего же племя не помогает и не идёт на поклон своим богам.

– А зачем? – пожал плечами Любогост, – Все видели, как богов свалили в реку обычные люди. Теперь мы увидели, что эти боги не могут за себя постоять. Так что зря он старался.

Небо заволочло, пошёл мелкий липкий дождь, и отряд был готов к отъезду. Пленницу Варун посадил позади себя на круп коня, но вышла заминка – что делать с пленником? Раненый, он хромал и оставлял за собой кровавые следы.

Тогда Варун спрыгнул с коня, схватил древлянина за волосы и потащил на холм к врытым идолам. Не дав тому опомниться, кузнец выхватил топор и всадил лезвие ему в грудь. Скользкие брёвна покрылись алым, и дождь растянул красную шапку по всему холму. Но и это не вызвало почтенного потрясения. Сверженным богам жертва не нужна, людям – тем более. Варун рыкнул, сплюнул в сторону Любогоста и поспешил обратно на коня.

Они уезжали молча.

Были такие, кто называл Стоянице городом, поскольку частокол острога огораживал его. Это было новое поколение селян, при которых этот частокол возводился. У старого поколения он вызвал лишь удивление – зачем-де столько сил тратить, когда пройдёт два-три лета, и надо кочевать на новое место? И там заново валить лес, жечь пни, корчевать корни и пахать девственную землю, богатую на всходы. А потом, выпив земные соки, уходить и оттуда.

Но князь Стоян был из молодого поколения, когда предложил с переселением повременить, а пока пожечь под новые пахоты ближние леса. Выдохнутся старые – засеем новые, а как старые отдохнут и наберут сока, дадим отдохнуть и новым. Так на девять лет хватит, а там посмотрим.

С тех пор прошло уже одиннадцать, и люди начали забывать о тяготах переселений, о том, как трудно бросать обжитую яму и копать новую, да и о самих ямах забывали. Землянки, как грибы, тянулись вверх от земли, покрывались крышей, толстели сеньями, а иные и клетями, где теперь часто молодёжь коротала любовные ночи. Куда удобней и теплей, чем ямы!

У княжьего дома появилась гридница – большой зал с дубовыми колоннами, где пировала дружина. Рядом, чтобы умерить бабью ревность жены, князь отстроил терем, и в нём поселил дреговичских, кривичских и полянских рабынь, захваченных в боях или купленных на славянских торжищах, где их продавали хазарские жида. Главное сокровище, ценнейший товар. Более же всех князю милы были русинки с их серыми глазами, рыжими косами и высокой статью. Этим можно было выторговать только у скандинавов, заходивших на ладьях по Днепру от Ладоги. В обмен скандинавы просили славянских гребцов – уж больно те были крепки.

Терем звенел голосами жен и детей, княжьих ублюдков, которые носились целыми днями без порток, создавая тем удобства отходить их по голому заду крапивой каждому встречному. Как только ублюдки подрастали, старейшины отряжали их в помощники бездетным семьям, вдовам или на военную выучку. Такие, как правило, первыми шли под вражьи стрелы и редко доживали до тридцати лет. Да и первые, из разряда помощников, часто рвали позвонки на пашнях или волоке, особо когда таскали из реки в реку купеческие лады.

Вот и древлянскую пленницу на первое время определили в терем. Услышав, что привели людоедку, остальные рабыни поспешили удалиться, и никто к ней не подходил. Только ветхая старуха, которая повитухой жила при тереме, приносила ей в одном и том же блюде репу, лук и лепёшки. Пленница тоже дичилась всех, но со старухой была приветлива и даже разговаривала.

– Привыкай, дикуша, привыкай, – трясла старуха головой, – теперь твоё место тут.

– Да как же тут, бабушка? – возражала пленница, – Мой город – Искоростень, что на реке Уж. А тут я не жилец.

– Верно. Не жилец ты, а часть племени.

– И вовсе не верно, бабушка, ты меня поняла. Не буду я частью племени вашего, не стану тут жить. Уйду.

– Ох, дикуша, – старуха шурила улыбку, – Знакомо-знакомо. Я же и сама полянская была, и меня полонили, и сама я плакала. Домой хотела. А потом ничего. Женили, детей нарожала, мужа похоронила, да и в землю вросла. Не всё ветром летать. Надо и землю знать. Ничего-ничего...

– Ты, бабушка, покорная. А я не такая. Уйду. Вот увидишь, уйду.

Варун неохотно позволил Стояну забрать у него пленницу, и потом, заходя в дверь гридницы нарочно торнул плечом Любора, выходявшего из неё.

– Берегись, – заметил Витко, – ты теперь ему враг.

- Отчего же? – недоумевал Любор.
- Князь отнял у него пленницу, на которую, помниться, и ты посягал.
- Ну, если разобратся, это я её добыл.
- А ты часто видел, чтобы Варун разбирался?

Сам князь Стоян в меру возраста к наложницам ходил редко, а если и ходил, то к двум – толстомясым и ленивым Лагуте и Пригоде, с которыми было не так обидно, когда ничего не выходило. Новую же пленницу он хотя и смазывал вождедеющим глазом, но побаивался. Уж больно дика, норовиста, на язык остра – осмеять кое-где может... да и людоедка! Хотя при этом сокрушённо вздыхал и с тайной завистью поглядывал на молодых своих сыновей.

Любор прежде в терем не ходил, не интересны были ему рабыни – нет азарта охоты. Да и как можно было доедать кусок, от которого кусало столько ртов! А вот длинная сутулая тень Первуши, старшего княжича, частенько гнулась при лучине в ночных сенях. Наследнику уже минуло двадцать пять, а всё он сторонился выбора супруги, предпочитая вольности с невольницами. И, говорили, сильно мучил их и заставлял по ночам нагими ходить в загон для скота, а уж что делалось там, среди быков и коней, никто вслух не предполагал.

Пленной древлянке и тут повезло – Первуша обходил её стороной. Она же вела себя тихо, и через десять ночей ей разрешено было покидать терем по своему желанию. Славяне никого не держали на привязи.

Первым делом она спустилась к реке и там долго омывалась и стирала одежду, затем бродила вдоль берега, уносясь взглядом за леса, и стало ей ясно, что о побеге домой не стоит и думать. Слишком далеки и незнакомы места, слишком густы леса, а вокруг одни чужаки.

Она сидела и плакала в камышах, и тёмная речная глубь вдруг поманила в свой вечный покой. Снятую рубаху девушка связала узлом на воротах, насобираала в неё камней. Получился тяжёлый мешок, который утащил бы на дно и витязя. Рядом оказался рыбацкий плот. Погрузив на него мешок, она из лент, которые всё же носила, ибо негоже девушке неукрашену быти, связала длинную верёвку и привязала мешок к черевью. В воде кожаный сапожок набухнет, и уже не снять его так просто, не успеть – вода прорвётся в грудь быстрее. А там будь что будет. Водяной на расправу скор – не мучает долго.

Плот скользнул с песка на воду, разогнав мальков. Бросилось в глаза солнце, в уши – пчелиный гуд и кукушка с опушки леса. Так внутри защемило, что она испугалась, не передумает ли. Но решено, не быть ей рабыней! Плот с мешком плыл от берега, древлянка шла уже по живот в воде, держась за осклизлое в ракушках дерево.

- А ну ворочай плот! – раздалось позади.

Она растеряно обернулась и увидела того, из-за которого попала сюда, того с кем боролась на поляне. Молодой светлокудрый, ещё не остриженный по-мужицки. Лицо у носа темнело и было вздуто, и она вспомнила удар коленом, который нанесла ему, но почему-то теперь было не весело, а страшно. И тут же почувствовала, как тянет под водой её привязанную ногу. Это плот относил течением. Воздух застрял в горле, и вдруг ужас охватил её.

Любор сбегал к берегу, на ходу стягивая одежду.

- Не уйдёшь, куница! Не уйдёшь! – посмеивался он.

А древлянка пыталась отвязать от сапожка верёвку, но та туго разбухла, и только ногти срывались. Плот вышел на центр реки и взял хороший разбег. Мешок камней от рывков девушки сползал к самому краю. Ещё рывок в попытке развязать узел – и груз опрокинулся и потянул лёгкое тело в бездну. Но пока этого не случилось, Любор в несколько махов доплыл до неё, и уже готов был наказать беглянку, хотя и сам не знал, как – может, утопить и не мучать себя, что не ему такая досталась, а Варуну?

И только тут разглядел он верёвку от мешка в воду, и дикие глаза девицы, немые от ужаса. Голова её уходила под воду, и казалось, больше не появится, но течение и тяга вытаскивала её, и она кашляла, билась и задыхалась. Любор влез на плот, ощупал мешок и всё понял. Разодрав

ткань, он высыпал камни, схватил верёвку и притянул древлянку к плоту. Обессилившая, она не смогла даже держаться за край, и Любор затащил её сам.

Солнце светило, кукушка пела, клокотала водица. На девице не было ничего, кроме обуви, и он бездумно разглядывал её молодое тело, пока она не пришла в себя. Когда открыла глаза, он резко отвернулся. А затем натужно стал править к берегу.

– Зачем это было? – спросил он, когда под ногами была земля, а перед глазами – согревающий костёр.

– Княжий сын, чего спрашиваешь? Не рабичем рождён, небось.

Она сидела, укрытая его рубахой и, не мигая, глядела на пламя. Сизые губы дрожали.

Только сейчас он мог изучить её лицо. Тонкое, резное, пронзительные зелёные глаза, белые брови, широкие как будто чуть бархатистые скулы. Кисти рук, которыми она обхватила колени – пухлые, как бывает в самой юности. Наверное, ей было не больше шестнадцати. И голос по-детски хриплый. Но далеко не детский взгляд – мерило судьбы.

– Не рабичем, – согласился Любор.

– Вот и я свободная.

– Уже нет, – заметил Любор, – Ты теперь у нас.

– А что мы вам сделали, что вы, как звери дикие, всех перебили? И сестёр моих, и братьев. Красные от воды глаза метнули в него молнию, и тут же вновь стали впитывать пламя.

На это Любор не сразу нашёлся с ответом. Ему вдруг и впрямь стало неясно, к чему той ночью они перебили столько беспомощных спящих людей.

– Всегда мы воевали, – сказал он, – Не нами начато, не нами кончится.

– Да уж, куда вашему князю...

– А ты про князя потише, – Любор попытался прикрикнуть, но вышло нелепо.

– Как уж сказала. Вон Аскольд Киевский все племена собрать хочет, помирить. Чтобы дружили против Царьграда. Сила будет! А ваш что?

Опять Любор замялся с ответом.

– Мы то одним, то другим служим, дань платим. Хватит, что ли. Вот наш род и пошёл в Киев. Только вы нам помеха. И не только нам, а всей силе.

– Я не знал... Мне только в ту ночь и сказали про призыв Аскольда, – признался Любор, смущённо тыча палкой в землю, – Это дело хорошее.

– Так чего же вы сиднем сидите? Чего бьёте нас? – древлянка долго и без всякой злобы, но с удивлением, поглядела ему в глаза, – Идите, объединимся. Не дадим христианам этим воли!

– А это правда, что вы людей едите? – Любор вспомнил возражение умного Витко.

Девица потянула носом и сплюнула.

– Бывало когда-то. Я не видела.

– Ладно, – сказал Любор, обивая ладони, – Пошли, а то искать станут.

Рубаху свою Любор оставил ей, а сам возвращался в одних портах, перетянутых поверх колен ремнями, да в опанках на босу ногу. Это вызвало смешки в Стоянице, и бабы склонялись друг к другу головами, перешучиваясь. Как же он, мол, так срывал рубаху с неё, что ничего от той не осталось. Горячий парень княжич.

Перед теремом у оградного плетня, Любор оставил её, и только в спину услышал:

– Благодарствую, княжич.

Она сказала это холодно и строго, как на торжище называют последнюю цену.

– Как звать-то тебя?

– Янка, – сказала девица.

Остаток того дня Любор провёл в лесу, таинственно радостный бродил он и пел. А ночью извертелся на скамье, так и не сомкнув глаз. Но пришло новое солнце, и вдруг он обнаружил

в себе слабую, но растущую с каждым часом жажду. Что-то крепко засело в груди и тянуло, звало, мутило разум.

Всё пошло с той поры у Любора в разлад с прошлым. Прежде он знал, зачем жить и что будет дальше, кого славить, а кого чтить, знал вес отцовского слова. Теперь же не представлял, как мог Стоян пойти наперекор предкам. Как мог он предпочесть этого бесславного грека самому князю Киевскому и всей чести, которую сулил поход на Византию.

Но и своих родовых богов, изваяния которых высились на лысом холме за теремом, Любор проходил мимо, не кланяясь им больше. Он видел, что так вёл себя честной люд Полу-чья, и уж явно неспроста отвернулись они от поверженных идолов. Он и сам больше не хотел, чтобы в него, как бывало, вселялся какой-нибудь бес, наполняясь которым можно было ни о чём не думать и не волноваться. Только вот осталась пустота смертная в душе Любора, на том месте, где раньше торчало три идола.

Более же всего поменяла его встреча с Янкой. И вот тут уж была пустота-пустотища, омут и бездна. Все, кто был прежде, даже та самая Малинка, домашняя и пригожая, казались ему теперь скучными, и даже их лиц он не мог вспомнить. А всюду, куда бы ни посмотрел, видел лицо Янки зеленоокой.

– Скажи, дядька Везнич, есть ли на мне волшба какая?

Любор сидел в землянке жреца, одноглазого Везнича. Отец говорил, Везнич сжёг свой второй глаз на жертвеннике, получив за это дар провидца от огненного бога, и никогда с тех пор не тушил в своём жилище огня. Так научили его скандинавы, у которых Везнич жил в юности, и чей бог сам отдал глаз в обмен на мёд мудрости.

Жрец полоскал рот вонючим грибным настоем и пускал слюну. Единственный глаз его вращался в своей тёмной яме и блестел страшным весельем.

– От чего же ты так думаешь, княжич? А... Вижу-вижу, – Везнич почти вплотную припал к Любору пустой глазницей, обхватив его голову руками, – Всё вижу про тебя. Сохнешь. Только с чего ты взял, что это волшба?

– Понимаешь, дядька Везнич, всё теперь поменялось.

– На что поменялось?

– Трудно сказать. У меня раньше такого не было.

– А ты давай-ка мысли не выпасывай! Говори, что на деле.

– Ну представь... вот выхожу я по утру к реке. Дух лесной, птахи, солнышко за туманом встаёт. Радуйся! – а не могу. Песню поёт рыбак. Как я любил раньше песни! Или пастух трубит. Или как девки засолнечную тянут. А теперь не могу. Всё померкло, песни нестройные. А я вроде и знаю, как надо петь. Знаю, как должно лесом пахнуть, знаю, как солнце блестеть должно по воде. Но всё вокруг не так, как знаю я. А я ничего не могу поправить. Тоска от этого. И вот тут болит в груди. И ни братья, ни отец...

Везнич вдруг закаркал, как ворон – так он смеялся.

– Чего ты, дядька?

– Знаю я средство.

– Ну так скажи!

– Найти надобно тебе человека, который такое с тобой делает, и сделать с ним то же самое.

– Это как? Кого же? – недоумевал Любор.

– Да вестимо кого – девицу ту, которая из тебя такого рохлю сделала. А теперь иди и не трать моё время!

От Везнича Любор пошёл к отцу, рассказать о том, что не может он жить теперь без Янки, и чтоб отдал он невольницу ему. Стоян с малой дружиной потчевались в гриднице. Когда Любор вошёл, внутри царил кавардак. В центре светлой залы на расчищенном от скамей полу грызлись две псины. Бороды, глазища и сжатые кулаки заполнили всё под потолком и вдоль стен.

- Жри его, Волочай!
- Рви его, Берка!
- Ага! Угу! Р-р-раз! Ах ты, гнилой!
- Чего встал! Дайте ему сапогом!

Собаки вцепились друг другу в холки и застыли на месте. Застыли белые глаза вывернутые назад, прижатые к затылку уши, красные дёсны в углах мокрых ртов. Иногда только упёртые лапы скользили и тут же упирались в пол ещё крепче. Вот-вот одна из собак должна была пойти по швам – так напряжён был комок мускул.

Кто-то заметил на пороге молодого княжича.

– Эй, Любор! Иди к нам!

Но он закрыл дверь снаружи, и долго ещё слышал гневные и весёлые подначки из-за деревянных стен.

А за гридницей раскинулись просторные стогна, где часто собиралось вече. Теперь там было пусто, в кострище аккуратно сложены новые дрова, свежая солома устилала землю. На той стороне площади высился терем. И Любор решил, не дожидаясь отцовского слова, последовать слову жреца Везнича. Пойти и сделать с Янкой то же, что она сделала с ним. Как – он не знал. Но тайно лелеял мысль: а что, если и она чувствует то же, что и он?

Унылый полный страж отступил, пропуская княжича, из-за двери пахло травным дымом и сладкой липой. В тёмных сенях от его шагов разбежались дети. Один из них – совсем ещё карапуз – упал и громко заплакал. Тут же навалили из комнаты женщины, начали задуть карапузу коленку, курлыкать над ним, а на Любора никто и внимания не обратил.

В другой комнате сидела старуха и делала руками знаки, от чего ему стало не по себе. В проходе он столкнулся с брюхатой на сносях бабой, и вдруг подумал, что она, может быть, носит его будущего брата. Если, конечно, князь ещё ходок сюда.

Огромный резной столб выплыл из мрака, и Любор, сам того не заметив, очутился в просторной зале, освещённой углыми лучинами. Это была, так называемая лядвенница, место для долгих посиделок. Зала была разделена занавесями, и Любор тихо вошёл. На полу шуршали листья, в нос ударило шалфеем.

Кто-то шептался, и, прислушавшись, Любор узнал голос Варуна. Зачем, подумал он, кузнецу ходить в терем? У него ведь жена, дети... были дети. Угрюмый и замкнутый Варун в таком месте... Неужели? Янка! За шёпотом кузнеца послышался её презрительный смешок. Его можно было узнать из тысяч.

Любор сжал кулаки со скрипом, и на миг шёпот в углу затих. Но потом вновь продолжился. Всё так – Варун упраскивал её жить с ним. Янка не отвечала.

Кузница Варуна была под горкой, в тени деревьев у самой реки, где та расходилась на плёс. Варун любил, когда природную тишину нарушает только правдивый звон металла, и верил, что любое слово, произнесённое при ковке, входит в состав стали и влияет на судьбу оружия. Да и сельчане обходили кузницу стороной – священнодействие не для глаз посторонних. Когда все четыре стихии встречаются в одном месте, много духов и бесов приходит туда, и ни к чему тревожить их.

В день, когда Янка пыталась утопиться, Варун был первым, кто увидел её и Любора, идущих от реки. Он правил лезвие копья, и в оконце воздуховода ветер занёс голоса. Кузнец замер с красным острием в чугунных клешнях, прислушался, пощурился в щель. Янка с растрёпанной косой в мужицкой рубахе и полуголый Любор – идёт, глаз от неё не отрывает.

– Пошла блудить, – процедил кузнец и поспешил вернуться к молоту.

Но с того дня решил он во что бы то ни стало получить её себе.

Когда-то Варуна знали совсем другим, и чаще звали Варушей, слыша в том и суровость крутого кипятка, что может обварить, и нежность, почти голубиную. Таков он и был – суровый

и нежный, и два этих качества уживались в его крепком теле. Сын кузнеца, сына кузнеца, он с детства питался звоном молота. Страсть же имел к музыке, и в свободное от помощи отцу время, мастерил в горниле железные дудочки, медные бубенчики, варганы и трещотки. Звонкие, гладкие, и звуком такие глубокие, как песня из груди птицы Гамаюна, хотя сам и оглох на одно ухо, как часто бывало среди кузнецов.

Отец сначала противился такому расходу сил, потом от пригожих звуков повеселел и разрешил сыну мастерить всё, что тот пожелает. Стал Варуша известным мастером в свои семнадцать, инструмент на торжище возил в Чернигов и дальше.

На торгу как-то нашёл на него купец из далёкой Македонии, из царства Болгарского. Тот подивился тонкому ремеслу, которого у диких лесовиков не ожидал, и позвал Варушу с собой.

– Поедем! Арабы, италийцы, галлы – учись у кого захочешь. Будешь в своём деле первым, тюркам на зависть, готам на зло.

Кузнец согласился, не мешкая. Отец повздыхал, что без помощника остаётся, но уж коли князь велел... Да и многие в те года отправлялись в Византию учиться.

– Пора и нашему Варуше у болгар ума набраться.

Варун никогда никому не рассказывал, что было с ним в Македонских землях, а только через три года вернулся он оттуда уже таким мрачным, каким видел его Любор сейчас, хотя минуло с его возвращения долгих двадцать пять лет. Говорили, это роскошь иноземная сделала его таким.

Пожив среди мраморных дворцов в вечно пышных цветах, где земля родит сама без усилий человека, а из-под тучных стад катятся головы сыра и реки молока, где радуга птичьих крыл в душистых эвкалиптах, где на серебре – коего славяне не знали почти – едят виноград и красну рыбу, где на солнце сияет позолота, а зернистая чернь веет лунным светом, где за стеклянными эмальями живые лики святых писаны кораллом и пурпуром, а на мечях и копьях вместо крови рдеют рубины и карбункулы... познав то, разучился Варун радоваться простоте льняных скатертей родного Полесья.

Стоян, только начавший княжить в то время, дабы развеять мрачность кузнеца, разрешил ему участие в набегах на соседние земли. Обычаем же полагалось рудяных дел мастеров от смерти или увечий охранять, не допуская до сражений. Иначе кто будет ковать на всю дружину? Но знал молодой князь, ничто не снимает тоску и думу так легко, как хорошая драка. А в те годы поляне часто приходили по Днепру, выискивая земли под хлеб. Ими-то и стяжал себе первую славу Стоян, надолго отпугнув непрощенных гостей. И Варун ходил с ним, орудовал палицей, окованной в голубую сталь, пытаясь треском черепов и воплями раненного врага заглушить струны Македонских арф.

В боях Варун огрубел, оставил звонкую музыку, зато ковал отменную кольчугу. Очарование иноземным добром сменилось завистью, а на почве той развилась и ненависть. Он и на грека Филиппа поглядывал теперь гневно, ища в нём ответчика за свою гадкую жизнь. Одним присутствием своим тот напоминал ему о роскоши христианской империи.

Но гадкой жизнь стала казаться ему не так давно. Жена родила ему сына и дочь, и Варун, постигнув радость отцовства, казалось, начал оживать. Так перебитый молнией дуб может десяток лет простоять сухим, но однажды весна вдруг тронет его зеленью.

Однако радость была недолгой, и шестнадцатилетнего сына, наречённого отцом судьбоносным именем Лесобор, на охоте изорвал медведь. О том Варун узнал через много дней, когда в лесу среди костей нашли кольцо, выкованное его руками. Подарок-оберег сыну. Долго пил безутешный отец хмельной мёд и крепкое пиво, долго горевал. Но цвела у его колен дочка Полеля, последняя отрада отца. Теперь и её не стало, унесли невесть куда древлянские людоеды. На сей раз Варун не горевал так много и даже сам испугался в себе такой перемене – неужели может жильный плотский человек стать камнем? Вот и одноглазый жрец Везнич,

глядя на Варуна, заключил, что потух в нём зелёный огонь, который боги развели во всём растущем и дышащем. Мирская тягота погубила его.

Теперь же Варун, словно снова оживая, повадился хаживать в терем. Оставляя забитую безмолвную жену за вечным трудом – кузня и дом несли много хлопот – он шёл к Янке, приносил ей тёплые ещё с наковальни серьги, витые тяжёлые гривны на шею, и радость и загляденье всего рода славянского – ажурные височные кольца. В самом Киеве таких не сыскать было – точно огонь, заключённый в неподвижное серебро.

Просил пойти к нему, неумело и рублено выходили слова, в которых даже нежность звучала приказом. Янка только отмалчивалась, а украшений не трогала. Зато прочая теремная баба так и вилась вокруг неё теперь. Её больше не боялись, как дикую людоедку, но видели в ней объект обожания знатного жениха.

И всё бы могло сложиться у Варуна, никто бы не спросил пленницу о её желании, если бы не забитая и тихая жена кузнеца, Заслава. Стоянова младшая сестра, которую князь любил паче всех, особенно по смерти их матери.

Выдавая замуж, просил её с любой просьбой и мольбой сразу к нему. Вот и теперь, как появилась древлянка, как заметила Заслава мужнюю до неё охоту, так и пришла к Стояну.

– Братец-удалец, любый мой князь, вижу я, откуда беда идёт в наш с мужем дом.

– А ну что ещё такое Варун выдумал? – заволновался князь.

– Деток не стало, так он и меня разлюбил... да и любил разве когда? Но вот пленница-то ему и совсем ум извела. Всё ходит к ней. А если возьмёт её к нам, то сживёт меня со свету, помехой ему буду. Да и сама не перенесу делить свой дом с людоедкой!

И принялась горько плакать. Стоян обнял её, погладил по редким волосам с проседью и заверил, что запретит Варуну брать древлянку себе в жёны.

Так однажды, возвращаясь от молчащей Янки к себе, сшибая в досаде ногами камни, Варун повстречал князя у самого своего дома. Стоян вывел Заславу, и перед ней запретил кузнецу покушаться на девицу, объявив её своей наложницей. И жену бить тоже запретил. Варун почесал затылок, помялся с ноги на ногу, да махнул рукой – а гори но всё Святovitовым конём!

Месяц ревун уходил в красные хоромы рощ и дубрав, на свежем ветре нёс прелые запахи усталой земли. Урожай был собран, озимая рожь посеяна, и пашни дышали вольной грудью. Из этой груди и людям в сердца изливался покой, сознание полноты их дела, снятого хлеба, тяжёлых коробов репы и лука. И под белым, самым ярким в году солнцем, на столы ставились кувшины пенного пива и щедрые ломти мяса – месяц ревун был так же и месяцем охоты.

Предки потому и нарекли его так – ревун, что леса то дальше, то ближе оглашались оленьим рёвом. Истощённые, возбуждённые олени долгое время не могут ни есть, ни спать, а только ищут олениху и денно и ночью сцепляются рогами в бою. Вот он закидывает голову, вытягивает шею, и под золотые кроны летит хриплый протяжный рёв. Низкий и глубокий, как треск поверженного дуба-великана.

– Как призыв самого Перуна! – заметил Любор.

Он вышагивал гордо бок о бок с Янкой. Они гуляли по лесу, и предлогом тому была охота, Любор даже лук с собой взял, но зверьё совершенно его не интересовало.

– Чего ж они так рычат? – спросила Янка.

– Подруг зовут. Горазд говорит, сейчас их бить всё равно, что грибы собирать.

– Вот как? Всё, как у нас. Полюбил – глаза закрыл.

При этом Янка окунула Любора в свои зелёные омуты, и пока тот захлёбывался, боднула его боком. Он побежал за ней, а она, смеясь, скрылась в ракитнике. Зелёные глаза мерцали в красной листве, дразня, вызывая, и Любор хотел зареветь, как тот олень.

Он догнал её, прижал к берёзе.

– Ты чего? – она казалась теперь беспомощной и хрупкой.

– Томишь ты меня.

– Вот и не думала.

Лёгкое тело вынырнуло из кольца его рук, и снова он стоял один, слушая смех.

Янка по осени стала часто покидать терем – работы бабам было мало, Варун караулить перестал, а князю она была не нужна. К реке больше не ходила, но часто глядела на закат, туда, где был её дом. Те, с кем она отправилась в поход, давно уже были в Киеве, а ей туда путь был закрыт. Но вот дом её был не так далеко.

Тоску по дому развеивал Любор, хорошенький и белокурый парень, очевидно, накрепко в неё влюблённый. С чего она взяла? – да просто рядом с ней он терялся, спотыкался, ронял стрелы, хмурился, и румянец в белой молодой бороде был особенно ярок.

Она позволяла брать себя на охоту.

– Скучаешь по дому? – спросил он.

– Да. И я должна вернуться.

– Ты же знаешь, что этого нельзя.

– Знаю...

– А что там, дома-то? – он откашлялся, – Жених?

– А, может, и жених.

Любор схватил её за руку.

– Говори, как есть, сватаная ты?

Она выдернула руку.

– Ишь чего ему!

– Хоть скажи, – он остановился, – Чистая ты? Девка?

Янка спрятала улыбку за оскалом и, не успев моргнуть, сбила его с ног.

– Ты мне ещё за тот бой должен! – огрызнулась она, уходя.

И, уходя, качала бёдрами.

Её шаги растаяли, осенний лес был тих. Любор поднялся с земли и огляделся – вдруг кто видел. Опасения оправдались, на прогалине стоял человек и глядел в его сторону. Высокий, широкоплечий, но худой, с длинной белой бородёнкой в чёрном колпаке. Это был грек.

– Чего тебе, чёрный? – со стыдливой обидой крикнул Любор.

Монах, словно это был приказ, смиренно поклонился и пошёл к нему. А, подошед, перекрестился и перекрестил Любора, а тот отмахнулся, как от комара.

– Ты это брось, жрец, – Любор отступил.

– Оно во благо. Крестное знамение. Спасёт и сохранит.

– От чего спасёт? Никто не нападает.

– От сетей мира сего.

– Каких таких сетей?

– Соблазны, страсти... грехи. Они терзают нас всех. Я знаю, что и тебя. Потому что во всех нас это жало.

– Ты говоришь туманно жрец, но ты сам всё видел, – Любор кивнул в сторону, куда ушла Янка.

– Страсть по жёнам – тоже сеть, – сказал Филипп, – И ты попался в неё.

– Не нравится мне в сетях быть. Лучше рыбаком. Поймать бы такую рыбку! – Любор улыбнулся, и решил попытать грека, – Знаешь, как? Ты же столько видел, небось. И как с жёнами быть знаешь.

- Мы, монахи, жён обходим стороной.
- Почему?
- Обет. Они только нарушают тишину духа, в которой может открыться Бог.
- Не понимаю, зачем такой обет брать? Заставляет кто?
- С ним проще. Поверь. Но тебе то не обязательно... А вот с этой древлянкой я общался давеча.
- Да ну! – Любор хлопнул грека по плечу, – Говори. О чём?
- Хочет она домой больно. Как бы не ушла по весне.
- Любор помрачнел.
- Думаешь, уйдёт? Леса... куда ж она одна? Да и как же... Неужели? Как бы её остановить? Ты можешь, чернец? Ты же умный.
- Не мудрей природы женской. А уж коли непокорная...
- Эх ты! И как быть?
- Тут только одно может помочь. Муж ей нужен. Любимый и суровый.
- Любор помолчал, смерил грека взглядом, а тот опустил очи долу и вздохнул.
- Хорошо говоришь, – сказал Любор, – Мне такое любо... Кто ж ей мужем будет?
- В этих вопросах, княжич, я не силен. Не монашеского ума дело.
- Однако ты предлагаешь это. Значит, есть что у тебя на уме?
- Только бы Господь Бог на уме был, и на языке... остальное не нужно.
- Что ж в этом вашем Господе Боге такое, что даже о девицах думать не хочешь? Или старый уже? – Любор рассмеялся, – Вроде не старик. А чудной ты, право, чудной.
- Бог рассудит.
- И имя чудное у тебя. Филипп...
- Как у одного из апостолов, – грек перекрестился.
- Это кто такие?
- Ученики Христа. Было их двенадцать, и во время оно ходили апостолы по всему миру, разносили весть о Нём.
- О ком? – нахмурился Любор.
- Об Иисусе Христе.
- Кто такой? Князь?
- Грек пожевал бороду и что-то прикинул.
- Приходи, княжич, как-нибудь ко мне в избу. Поговорим.
- О чём мне с тобой говорить? Как ты богов наших в Получье свалил?
- О разном. И о древлянке твоей, если хочешь, поговорим. А теперь разреши идти, вечерню пора служить.

Вот и вышло так, что единственным человеком, который мог бы его выслушать и дать совет, оказался монах христианин, чужак из Греции. Но, может, не спроста отец так уважал его, и стоило прислушаться к старшему? Через старших глаголет расчёт.

Но на следующий день Витко, Горазд и прочая молодёжь позвали Любора на охоту, ибо близился заветный праздник Осенины, когда солнце с луной делят небо поровну, а там и дни гуляний. И на столах должно быть всего в избытке, чтобы то, что не съели люди, съела земля и река, а накормленные духи почвы и воды хорошо послужили в новом году. Били оленей, свеживали прямо в лесу, и чёрные от крови, усталые и весёлые возвращались домой.

– Весенний дождь из тучки, осенний – из ясени! – так говорили.

Утром на заре моросил последний тёплый дождь, и на берегу Сожи собрались все поселяне от мала до велика. Круглым хлебом и кутьёй в горшках встречали матушку Осенину. Обливали детей речной водой, набирали в вёдра – омыть скот. В избах гасили все огни, заливали угли в печах. К вечеру новый освещённый огонь вынесет из своей норы жрец Везнич

и раздаст всем – новое тепло в старые очаги. Чтобы всю долгую зиму грел как следует. В нём сожгут ветхую одежду, ломаные сохи, стрелы, и всё то, что есть символ старости.

На золотой горе из палых листьев стояла жена Стояна, держала в одной руке факел, в другой – хлеб. Остальные женщины водили хороводы в пять рядов, и рябило в глазах от лент, венков, гривен и серёг – тяжёлых и звенящих. Трещали костры, и дым устилал землю и реку, а в нём кружились лица, горели глаза и белые улыбки в вечерних сумерках.

По обычаю парни и девицы с завязанными глазами искали друг друга, и как только собиралось двенадцать пар – символом равноденствия, – их обряжали, пестовали, и поили хмельным мёдом. Потом пары распускались, и всё повторялось. И так до тех пор, пока могли стоять на ногах.

К Любору всегда стягивалось больше всех девиц, словно те видели сквозь повязки. А на самом деле просто запоминали, как бежать к нему через луг, сколько шагов-поворотов. С выставленными руками бойко шли, пихались локтями, визжали, цеплялись за его рубаху. Он и сам громко и весело смеялся, и к ночи был совсем пьян и зацелован.

Янка сидела у костра, и только хмуро поглядывала. Он тоже замечал её, и всё хотел подойти, но суматоха, крики, подначки друзей – и вот опять понеслась весёлая игра. Один раз Любор всё же подошёл пригласить её на луг, но она показала ему язык и отвернулась. И не сказала, что прежде того сам Стоян проходил мимо неё и бросил:

– А ты тут посидишь. Нечего. У нас и своих девок хватает.

И потому Любор ушёл ни с чем, хотя заметил ещё у другого костра Филиппа. Направился к нему, и весело махнул рукой.

– Чернец! Ну хоть ты иди плясать!

Грек тоскливо улыбнулся.

– Грех это. Да ещё и в праздник.

– Это что? – Любор пьяно и нахмурено улыбнулся, – У вас там тоже Осенину встречают?

– Рождество Пресвятой Богородицы нынче, княжич. Один из самых...

– А, как знаешь! – за руку тащили его в хоровод.

В круговерти всего, оглушённый бубнами и дудками, а больше всего – хмелем, Любор плутал по краю луга в молодых рябинах. Тут его подкараулила тринадцатилетняя Светлуша, румяная и белая, и припала к его груди, будто бы со слезами, хотя то был только повод. Любор удивился, чего она плачет, и девчонка толком ничего не объяснив, полезла сама губами ему в лицо.

Но из лесу тотчас донёсся страшный рык, и Светлуша завизжав, брызнула прочь, к свету и кострам. Любор растерянно ощупал пояс – ножа не было... но и зверя не было. Из темноты бора вышла к нему Янка. Она рыкнула ещё раз, точь-в-точь по-звериному, и оскалилась.

– Янка! – Любор засмеялся, – Ну ловка, девка!

Она, всё с тем же оскалом, подошла вплотную, стянула его за ворот и ударилась губами в его губы. Любор почувствовал, как в теле его стало вдвое больше крови, как он задыхается, а руки уже сжимают её груди под рубахой и бедра под понёвой.

От этого Янка снова зарычала, но не противилась ему, а напротив – сама толкнула его, они упали вместе, и как-то вдруг оказались без одежды. Осока и кора резали белую кожу, тряслась молодая рябинка, которую обхватила Янка, словно это могло спасти утопающего от бурного потока.

Только в глубокой ночи они, замёрзшие, вышли погреться у крайнего костра. Гулявших почти не было – кто спал навзничь, кто допивал из бочек, а многие парами разбежались по лесу, и иногда ещё были слышны из-за деревьев зажатые стоны и тяжёлое дыхание.

– Вот я теперь и твоя, – шептала Янка на ухо, – И секретов у нас нет.

Любор довольно улыбался и гладил её распущенные волосы.

– Буду тебе женой верной.

– Завтра же! Завтра же отцу скажу!

– Постой, – она приложила палец к его губам, – Прежде выслушай. Тут жить нам не след. Мы уйдём.

– Как же не след? Почему?

– Князь отдаст город старшему своему, а ты ни у дел. Тебе надо идти собирать свою дружину. Или будешь бегать за братцем всю жизнь?

Любор молча глядел на россыпь углей.

– Не такого мужа я в тебе вижу. Знаешь, я же и сама рода сильного, знатного. Вы всё говорите, мол, людоеды... А это всё неправда. Искоростень – город больше вашего. А люди у нас хоть и в шкурах ходят, но свободные, да богатые. Я дочь богатого воеводы.

– И ты хочешь уйти к себе?

– Не я... мы! Теперь – мы.

– Но не гоже сыну из рода уходить. Предки завещали жене к нему, а не...

– А не думаешь ты, что у вас теперь предков не особо чтут? Не смотри на меня так зло! Это правда. Подумай сам. Этот грек... Того и гляди, Стоян христианского бога станет почитать.

Любор снова молчал. В глубине он был согласен с Янкой.

– А мы чтим старых богов. У нас они одни! Древляне, дреговичи, вятичи, поляне, радимичи – сколько племён! Но одни боги... И потому Аскольд в Киеве созывает всех нас, а одни вы не идёте.

– Я не знаю, почему так, – сказал Любор, – отцу виднее...

– Конечно виднее. И братцу твоему тоже. А ты ни у дел, княжич.

Восток над лесом тронулся бледной полосой. Холодная роса отяготила одежду. Янка встала и принесла хвороста в огонь.

– Любор, – сказала она, ломая ветви о колено, – Кому-то судьба сидеть в старом. Кому-то – рвать с прошлым. Этой ночью я порвала... И доверила тебе это сделать со мной. Теперь очередь рвать тебе. Осенина – лучшее время для этого. Как говорят, на Осенину корень не растёт, а мёрзнет. Тут его и рвут.

Когда к полудню следующего дня домовитые матроны собирали в избах и сенях столы, созывая больных после вчерашней ночи на сытный обед и крепкий опохмел, когда молодёжь урывала час-другой для сна и восстановление сил перед новой ночью, Любор, оставив Янку спать в тереме, зашёл к греку Филиппу.

В избе его пахло сладкой смолой – подарок князя, купленный им у византийских купцов. Грек захлестнул толстую книгу на медные застёжки и встал навстречу гостю.

– Рад тебя видеть, княжич! Но, право слово, совсем не был готов. Забыл, зачитался. Память моя с годами совсем никуда.

– Не важно, – буркнул Любор, поискав по избе чарки с пивом, и, не найдя, вздохнул.

– Как ты, княжич?

– Не важно...

– Садись. Что мучает тебя... кроме вчерашних медов?

Любор сел на крепкую скамью – из княжьей гридницы. Тут вообще было полным полно вещей из дома Стояна. Даже книги и утварь – то, что удалось выторговать дальновидному князю на торжищах. Как будто бы знал отец, что наступит время христианских гостей – думал Любор.

– Что за Богородица такая? – спросил Любор, – Ты вчера говорил, будто праздник в её честь был.

– Святая дева, родившая Спасителя нашего.

– Разве бывает, что дева, а рождает? Рожают известно после чего...

– А это, княжич, есть чудо, тайна спасения. От чуда Иисус изошёл, к чуду и пришёл.

- К какому же чуду пришёл?
- Воскрес по убиении, – Филипп указал на крест.
- Ну а мне... то есть, тебе, кто в него верит – как он поможет? Ты от чуда не родился, поди. И к чуду не придёшь.
- Верой всё возможно. Пустишь Его вот сюда, – Филипп коснулся груди под крестом, – Станешь частью, причастишься, то есть – и воскреснешь.
- Запутано всё у вас... дева рождает, мёртвый оживает. От кого же она родила?
- Дух снизошёл.
- Стало быть, бес в неё вселился? Ну, тогда может такое быть, – прикинул Любор.
- Прошу тебя, княжич, не называй Его бесом. Мы изложили Писание на ваш язык, и вместо «беса» пишем там «Бог».
- Да какая разница? – удивился Любор, – У нас хоть бес, хоть бог, хоть твой дух, который снизошёл на деву... Ну ладно уж, будь по-твоему.
- Спасибо, Любор, – улыбнулся грек.
- И каков же плод был у неё? – продолжил Любор.
- Сам Бог.
- То есть, если бы я родился от девы, тоже был бы бог?
- Но ты не родился...
- А какой же я плод?
- Ты плод покаяния. С печатью греха вышел в свет. И носишь её, и она гнетёт твою душу.
- И как же быть? – Любор уже спрашивал настороженно.
- Креститься. Как отец твой, Стоян. Принять Христа, Господа нашего.
- Эти слова кольнули Любора так, что он даже встал со скамьи. Но снова сел и только вздохнул:
- Значит, права была Янка... отец к вам перешёл.
- О, эта девица вельми умна, хоть и называете её людоедкой.
- Да уж... и ты прав был, хочет она домой. И меня просит идти с ней.
- А что же, – спросил Филипп, – Ты теперь ей муж?
- Любор покраснел сквозь белую бородку, и не посмел поднять глаз.
- Не робей, княжич. Скажи, и я помогу тебе, чем смогу. Входил ты к ней?
- Да.
- Любор не думал, что признаться в этом будет так тяжело. Он готовился хвалиться этим перед Гораздом и Витко, видя себя удачливым охотником. Но перед этим истинно прахом человеческим, ему было неловко.
- Слушай, чернец, почему ты такой догадливый? – обиженно спросил он, – Всё знаешь...
- Куда мне? Но настоящее смирение открывает двери всезнанию.
- Так как же мне быть, скажи тогда? Брать её и уходить в древлянский род? Она ведь тоже толкует здраво, что Первуша князем будет, что не место мне тут, и племена чтут...
- Любор оборвал себя, зная, что Филипп не поддержит его в разговоре о богах.
- Ты мечешься, княжич. И я понимаю тебя. Но не вини отца, что отверг ваших кумиров и принял Христа. Разве хуже вам живётся? Ведь он никого не неволит делать то же самое.
- Но он не пошёл в поход! Аскольд, князь Киевский, созвал все племена на Царьград за славой. И только отец отверг его зов!
- А ты бы хотел пойти туда?
- Ты ещё спрашиваешь! – воскликнул Любор.
- Что ж, – Филипп нахмурился и закивал, – Если ты так хочешь, я могу попросить Стояна снарядить тебя с ними.
- Любор покосился на грека.
- Шутишь? – спросил он настороженно.

- Ни к чему тебе обиду на отца носить. Да и к святым местам пойти будет на пользу.
- Ну грек... Ну коли сможешь, – Любор вскочил, заходил по избе, потом положил руки тому на плечи и встряхнул, – Век буду должен!
- На всё воля Божья, – Филипп склонил голову в чёрном клобуке и перекрестился.

Месяц листопад проходил в пасмурных днях ветрогона, и уже к концу его ударили морозы. Люди всё чаще сидели по избам – женщины пели, пряли и ткали полотно на будущий год, мужи маялись и пили. Решено было созвать большое вече, и на него прибыли все, кто уже мог носить копьё и лук. То есть все те, кого одолевала маята.

Сначала, как полагалось, говорили старики. Их слушали, уважительно скрывая зевки, и заметно оживились, когда слово взял воевода Усыня, ближайший человек князя. Отирая рыжие вислые усы, он бранил на чём свет стоит людоедов-древлян и призывал пойти на них в поход. Пока их дружина в Киеве, пока Искоростень оставлен, нужно было, по его словам, брать его, мстить за похищенных девиц. Князь сверкал глазами, и было видно, что слова воеводы ему по душе. Тогда кто-то из старейшин возразил, что впереди зима, и в это время никто не воюет, а только дань собирают. Замечание было весомое, большинство мужей согласилось, и предложили ждать до весны, пока откроется река, а болота просохнут.

Встал вопрос, чем же заниматься до весны – неужели сидеть в Стоянице и бить зайцев? Это говорила молодёжь.

Наконец, из круга вышел мрак-Варун, оглядел всех хмурым глазом и поклонился князю. Почтенное звание кузнеца давало право говорить без очереди.

– Пока весь люд честной в сборе, буду просить тебя, княже, давнюю просьбу. И коли не по справедливости прошу, скажи – тому все свидетелями.

Князь затрепал рукав кожуха, чуя неприятный разговор.

– Говори, Варун.

– Знаешь ты, и все знают, что живём мы с женой моей Заславой одни теперь. Лесобора задрал зверь, Полелю зверь унёс.

Варун почесал шею, подумал. Долго говорить ему было непросто.

– Но и не молоды мы уже, и кто знает, будут ли ещё дети. А без них умирать нельзя. Как род продолжится? Потому что не должно быть, чтоб некому помянуть. Дух в памяти чают. Разве не верно я говорю, братия?

Вокруг закивали.

– Знаешь ты, и все знают, что в бою взял я пленницу, древлянку, которая нынче живёт в тереме. Ты, княже, запретил мне брать её себе женой. Спорить с этим не след. Так дай же ты мне её в дочери!

Закашляли, заволновались. Кто-то встал во мраке за спинами, кто-то засмеялся, а иные одобрительно клонились головами.

– Или не имею права? – продолжил Варун, всё так же напряжённо глядя на князя.

– Имеешь, конечно, – пожал плечами Стоян, – Но надо подумать...

– А чего думать? – крикнули со скамей.

– Не видано, чтобы в дочери... рабу известно зачем берут в дом! – смеялись с другой стороны.

– Хитро придумал!

Варун рыскал глазами, искал болтунов, но яркий костёр размывал лица.

– Всё верно, Варун достойный человек!

– Он не обидит... А кто ему дочь вернёт? Князь не вернул!

– Отдай девку!

– Зря! Её бы молодому кому...

Стоян кусал ус и трепал рукав, не решаясь ответить. Народ закипал, и Варун, казалось, врос в землю, готовый ждать до утра и даже дольше.

Но всё разрешилось само. В круг к Варуну вышел со скамей Любор. Он встал к нему лицом, а кузнец даже не поглядел на него.

– Я не верю тебе, Варун! – сказал он.

Кузнец не шевелился. Толпа затихла.

– Ты хороший кузнец, но плохой выдумщик...

– Сын! – крикнул князь, – Что ты говоришь?

– Я не верю, что Варун хочет сделать её дочерью. И не разрешаю ему!

– Ты? – процедил Варун, – Ты мне будешь разрешать?

– Буду.

– Объяснись! – князь встал со скамьи. Усыня нащупал древко топора.

– Мы с древлянкой помолвлены.

Со скамей охнули.

– Я решил взять её себе женой. И мужу распоряжаться, в чьём доме жить жене. Так что, Варун, не бери на себя обиды... отступись!

С минуту было молчание, и Стоян прикидывал силы обоих – с холодком замечая, как просто был одет его сын. Ни кольчуги, ни двойного льна...

– Или придётся пройти через меня.

И даже без топора за поясом. А вон у Варуна под коленом неизменный засапожник блестит.

Но кузнец, так и не удостоив Любора взгляда, спросил князя:

– Что скажешь, Стоян? Берёшь людоедку в род?

Однако Стоян не был взволнован этой вестью. Поняв, что драки не будет, успокоившись за сына, он снова сел и в толпе нашёл взглядом Филиппа. Давеча Стоян не хотел верить греку, когда тот поведал ему о своём разговоре с Любором, но теперь всё сходилось.

– Слушай же меня, сын. И вы все тому свидетели! Если ты и впрямь решил взять её, если помолвился перед предками на кургане. Если непреклонен... Я позволю влить в нашу реку новый ручей. Вода всё равно одна.

Любор шагнул к нему, но Стоян выставил ладонь и лоб.

– Стой! Это не всё. Ты возьмёшь её при одном условии.

– Всё, что скажешь, – загорелся Любор.

– Весной Аскольд идёт на Царьград. Это не секрет, и вы о том знаете. Что ж, я не хотел ступать к нему по ряду причин. Мы только отстроились после пожара, а вспомните мор... К тому же я в лучшие дни водил дружбу с Рюриком и молодым Олегом, а те с Аскольдом не в ладах. Но это не так важно сейчас... Пусть залогом моего расположения к Аскольду, к союзу племён, к стяжанию славы послужит мой сын Любор.

Стоян подозвал его жестом, и когда тот встал перед отцом на одно колено, возложил ему на темя десницу.

– Ты поедешь в Киев. Весной ты выступишь в дружине Аскольда. Но знай, что я жду от тебя не только смелости в бою, не византийских сокровищ. Ты будешь рукой нашей мести древлянам. В походе ты должен убить Катая, князя древлян, и привезти мне его голову. В награду получишь себе жену.

Десять дней пути перелётной птицы, что два месяца пешему воину. Кто привык жить в степи, где простора больше, чем глаз охватит, у того этот глаз жадней. Нет тому времени ни строить, ни пахать, а только гнать и гнать горизонт прочь от себя. Да приговаривать «се мое, а то – мое же». Таковым пришло в славянские земли племя хазарское, от Каспийских

степей до Днепра, бия лесных жителей, как перелётных птиц на охоте. Клали дань – с дома по беличьей шкуре и монете, со старейшины – девку, с князя – кольчугу.

Прослышав о том, что дружины славян снимаются с мест и уходят в Киев, а города и сёла стоят беззащитными, хазарский каган Ханукка повелел воеводам отправиться на закат, минуя Киев и Чернигов, не поднимая шума, дойти до Полесья. И там заявить своё господство новым данникам. Поляне на дань скоры, северяне бедны, но тоже платят исправно, а вот вятичи, кривичи, да древляне, и многие остальные рода-племена живут спокойно, жиреют и словно нет для них грозного кагана.

Шлемы-шишаки, острые, словно грозили пропороть небо, с конскими волосами в наверх, оцетинились в долине. Срывая подошвы, прибежал в Стоянице мальчик, ловивший птиц на холме. Закричал и повалился к Стояну в ноги.

– Железное море пришло!

Заснувшее на зиму Стоянице пробуждалось. Вылезали из землянок, изб и хором мужики, бабы в дверях держали детей, водили носами – что за новости? От кого удара ждать, если все соседи в Киеве? Да и кто из славян воюет зимой? Даже скандинавы и русы не ходят – реки сковало, а пешими они не горазды.

Жрец Везнич, хохлатый и косматый, опираясь на длинный посох, ходил меж домов, возглашая гнев забытых богов. Дымящейся головнёй окуривал людей и постройки, но не подходил к избе князя. Везнич больше не говорил со Стояном-вероотступником, как и сам князь – со жрецом поганым. Народ к такому противостоянию присматривался, раздумывал, но ясную сторону – за князя или жречество, – пока не принимал.

В тот день никаких больше вестей с той стороны холмов не было. Неизвестная армия встала на ночь, и только чёрная туча застлала звёздное морозное небо – дым от сотен костров. Женщины Стояница плакали ночью, чуя близкую угрозу. Мужчины тяжело вздыхали, доставали оружие, счищали с него ржавчину.

А на утро под всеобщее ликование со стороны реки в гости к Стояну пожаловала дружина Светлана, старейшины соседнего города и родственного племени. Светлан шёл вперевалку, грузный, с распахнутой грудью и потрясал дубиной. Вои его все как на подбор были такие же тяжёлые, высокие, обритые налысо и с предлинными бородами. А вот впереди них шли волхвы. Говорили, старый Везнич ночью отважился на путь через реку по ломкому льду. И за ночь обошёл лесные жилища жрецов, а те послали гонцов, и успели до рассвета собрать целую дружину. Светлан так боялся и почитал жреческую власть, что лично ходил по домам и будил воинов.

– Вот тебе и волхв, – шептались жители Стояница, – Вот тебе и Везнич. Старик немощный, а привёл силу!

– И почему князь его невлюбил? – спрашивали другие, – Уж куда лучше этого грека.

– Да всё ясно, – отвечали третьи, – Христианский жрец на нас накликнул беду. Это он призвал чужаков! А Везнич пошёл, да защиту привёл.

– Сильны волхвы – ведают пути богов!

И почтено склонялись перед жрецами, а те, загребая посохами, вступили в ворота, и за ними – сто лютых воинов могучего Светлана. Стоян и воевода Усыня вышли навстречу.

– Здрав буди, княже! – приветствовал Светлан.

– И тебе поздорову, Светлан, сын Ореха! Скажу без лукавства, не ожидал тебя, и рад, как солнцу ясному.

Стоян раскинул руки и сошёл обнять Светлану.

– Будет битва, – сказал князь.

– И сколько их пришло?

– Неведомо, Светлан. Никто не может сосчитать. А только говорят, – он отвёл старейшину в сторону, – говорят, что весь дол шлемами блестит, как половодье.

Светлан опал плечами, и вдруг стал меньше, тоньше. В страхе поднятые на князя глаза бросили на лицо серые морщины.

– А сдюжим, князь?

– Что? Не уверен?

Светлан задумался.

– Хотя если не сдюжим, они же и на наше село придут, и на Получье, и на Сожь... Всё племя на колени поставят. Надо одолеть, князь, выхода нет!

Сумятица возросла ещё больше, когда князю донесли о послых, которых гридни встретили утром у холмов. Но не стали слушать, а расстреляли их из луков. Стоян не помнил себя от гнева.

– Кто разрешил послов стрелять? Кто стрелял? Привести сюда!

А гридни только разбрелись по селу, и никто не хотел признаваться. Тела троих убитых хазар лежали в снегу за частоколом.

– Вы понимаете, что растравили зверя? – рычал князь, обращаясь ко всем и ни к кому, – Был бы толк на мир сойти. А теперь кто остановит их?

И, находя Филиппа, смиренный вид которого успокаивал гневную дрожь, жаловался ему.

– Мы могли договориться. Узнать, кто да с чем пожаловал... мировую наладить, как с печенегами было. Ну подавали бы им мёда, соболей. А теперь! Что будет теперь, Филипп?

Грек клал на широкое княжье плечо руку, второй касался его макушки.

– Всё по воле Господа. И всё в руках Его.

– В руках... А мне-то что делать?

– Уповать и молиться.

– Э-э, – отмахнулся князь и закусил бороду.

Кони хазар не были быстры, измотала их и голодная дорога, и ранний снег, и высокий холм, куда они поднимались скользя, а спускались с боязливым храпом.

Дружина, гридни и мужики успели вооружиться, натянуть кое-как незамысловатый стёганый доспех. Затворили ворота острога, выставили на площадь чан с вываренным соком волкобоя, или, как звали его греки – аконит. В чане мокли стрелы, повязанные у острия льняной полосой для пропитки ядом.

Светлан выставил своих воев у острога. Если враг переберётся через стену острых кольев, они должны будут первыми принять бой. Их, в свою очередь, будут прикрывать лучники Стояна. Если не помогут и ядовитые стрелы, решено было поджечь обваленный соломой частокол, и стеной огня разделить тех, кто успеет миновать стену от тех, кто ещё за ней, и по очереди перебить. У Стояна было полтысячи воинов. Но никто не ведал, сколько придёт с той стороны.

И Стоян, прося благословения у Филиппа, наблюдал из-под его креста, как все пятьсот воинов жадно вдыхают дым от жреческого курения Везнича, как глаза их ловят одноокий взгляд, и как жрец касается каждой головы корнем священного дуба.

Когда сам князь вышел перед строем, не многие глядели на него.

Он произнёс слабую речь, был бледен и прятал глаза, и всем стало ясно – в победу князь не верит. А если не верит князь, этот столп веры, то чего спрашивать с других.

Любор, дабы не видеть отцовской слабости и не тушить в себе последние угли надежды, ушёл за стогна, к терему, где искал Янку. Она ждала его ещё ночью, и потому сразу бросилась на шею, зацеловала и без лишних слов протянула холщовый мешочек.

– Что это?

– Съешь. Наши воины едят это перед битвами.

Любор высыпал на ладонь серый порошок с дольками волокон.

– Пахнет грибами.

– Говорят, наших дедов научили собирать это снадобье карелы, а тех – викинги.

Любор стоял в нерешительности.

– Князь Новгородский Рюрик, – продолжила она, – большой охотник до этих грибов.

– Ну раз Рюрик, – хмыкнул Любор, – Тогда можно...

– Ну вот, – Янка надула губы, – Раз Рюрик... а раз любимая даёт?

– Так ещё лучше, – Любор примиряюще поцеловал её в лоб.

Янка тоже поцеловала его в лоб, затем в губы, в шею, спустилась к груди. И когда уже губы её коснулись его колен, Любор удивился:

– Что ты делаешь?

– Зацеловываю. Чтобы был цел. Так делают у нас.

Он вышел из терема, уже ощущая странную лёгкость, как будто тело его надувалось воздухом, и вот-вот взлетит. Места Янкиных поцелуев пылали тихим огнём.

В детстве он слышал от дружинников, особенно от старых, кто много кочевал, о волшебных грибах и о людях, зовущихся «берсерки», что ели их и становились сильны и неутомимы. Пронзённые стрелами и порубленные секирами, они всё равно сражались. И только когда кончался бой, кончались и они.

Говорили, что те из берсерков, что доживали до преклонных лет, теряли рассудок, и в них навсегда поселялся грибной бес, и потому приходилось прогонять их из племени в леса. Там, если им не удавалось находить снадобье, в великих муках они кончали с собой. Судьба их казалась незавидной. Но Любор успокаивал себя – он же попробует всего-то один раз...

Снег поразил его своей белизной, и многое вдруг начало отвлекать. Слишком ясные запахи. На что бы ни падал его взгляд – солома, конский навоз, печной дым – всё тут же взрывалось сотнями нот запаха. Он даже оказался смущён, и какое-то время не мог освоиться с этим новым даром, стоя на месте в растерянности.

Затем обнаружил в себе источник поразительной воли. Он мог приказать всем запахам исчезнуть, и мир послушно терял насыщенность. Приказав сосредоточить все чувства на далёком неприятеле, он остался в пространстве, где не было ничего, кроме хруста снега под копытами хазарских аргамаков. Воля дорисовала и самих лошадей, и всадников, и вскоре пустое поле перед ним обросло щетиной копей и острых шлемов.

Любор стоял один, держа короткое копьё, и лавина плоти и стали неслась на него. Это были образы, сотканые из звуков и запахов – глаза не могли прозреть сквозь частокол. Но он всё равно видел их.

Тогда, почуяв свой собственный страх, как змею, заползшую к нему в живот, страх одиночества перед стихией врага, он приказал миру вернуться в прежнее свойство. И вот кругом понеслась жизнь, крик, сопение, пар из ноздрей, сияние клинков и наконечников на зимнем солнце. Нахоленный отец, низкий и коренастый Усыня в кожаном шлеме, Горазд, Витко, занявшие места у котла с ядовитыми стрелами, сосед Светлан и его косматые полуголые воины, идущие к частоколу. Кто-то провёл лошадей, кто-то погнался детей и велел им спрятаться в лесу за рекой. Хлопали двери и ставни – бабы запирались в домах, готовя ножи и кипяток на случай вторжения в хаты.

Немыслимый рёв оглушил – трубили в рог. Неприятель подошёл к стенам. И тут же синеву окропили стрелы. Любор увидел, как за частоколом в тех местах, куда эти стрелы упали, вспыхнули красные огни. Это было похоже на свечение раскалённого в кузне прута. Любор понял, что видит чужую боль, и вмиг опьянел от этого. Новое чувство сплелось в нём с гневом на врага, и зашипело экстазом в каждой мышце. Новые стрелы нашли свою цель, и, вновь увидев красные лучи, Любор довольно засмеялся. Краем глаза заметил, что Горазд смеётся ему в ответ, что он с ним связан незримой нитью. Эта нить опоясала всех соплеменников, и стало ясно, что такое, корень рода. Все люди, стоящие по эту сторону частокола перестали быть людьми. Теперь они были корнями великого древа, чей ствол и крона шумели высоко в небесах. А по корням шла жизненная сила земли, которую они оберегали, и которой кормились – начиная от почвы, заканчивая женской грудью. Могучий призыв великой матери-земли.

Первые хазары возвысились над острогом, забравшись на осадные лестницы. И вот уже приземлялись по эту сторону стены. Тогда Любор отвёл руку с копьём назад, приготовившись к броску. Но метнуть копьё оказалось не так просто. Словно на руке повис мельничный жернов. Он вырывал её из трясины, и вдруг понял, что вся дружина привязана к этой руке, и вместо того, чтобы метнуть копьё, он бросил вперёд пять сотен человек. И в то же время он был каждым из них и дрался там, у стены, ощущая горячие солёные брызги на зубах, и как сталь входит в мясо, и как хрустят жилы.

Он размахнулся ещё раз, и стрелы понесли в клювах смерть. Ещё раз – и частокол, обложенный соломой, вспыхнул рыжим коптящим пламенем. Тогда он велел отступить своей дружине, и все, как один отошли от горячей стены, через которую больше не лезли хазары. Лучники добились тех, кто успел перелезть.

Время вело себя странно, то сжимаясь, то растягиваясь, и Любор понял, что время – это женщина. Неприступная, гордая, капризная. Он попытался управлять им, но воля его оказалась слабее, и стало по-детски обидно, он чуть не заплакал. Вдруг частокол рухнул в пепел, и Любор обнаружил себя в самой гуще схватки. Он не помнил, как долго горел огонь, что от частокола остались только угли, и когда неприятель успел перебросить силы на эту сторону.

Копьё разило легко, будто всё было понарошку. И люди падали не взаправду, и кровь из его плеча лилась тягучим мёдом. А те места, куда целовала его Янка, объяла щекотка. Он прыгал выше голов, иногда зависая в небе, и оттуда пикируя на врага, при этом не в силах унять страшный смех. На лицах, видевших его, читался испуг – Любор и впрямь был страшен. Смеющийся в чёрных пятнах своей и чужой крови, с углями вместо глаз, скачущий или бегущий на четвереньках.

Внезапно картина начала уменьшаться, люди сжимались, звуки стихали, и всё уползло вдаль. Он запрокинул голову, и в кроне великого дерева жизни увидел лицо Горазда. Чёрствое корневище его руки вцепилось в стеганный плащ Любора. Наконец он осознал, что Горазд тащит его по снегу, и тот корень, что тянется по белому полю – это никакой не корень, а кровавый след. И что он сам, Любор, сделанный из ломких соломин и хрупких сосудов, ранен. Багровые лучи исходили теперь уже от него самого, застилая обзор, и скоро ничего, кроме них не осталось. Кроме них, и протяжного крика

– Мама!

Он пришёл в себя на тёплых полатях с перевязанным плечом, тошнотой и ломотой во всём теле – так прощалось с организмом зелье. Грибной бес не хотел покидать уютное жилище, и цеплялся неистово за все сухожилия и суставы. Но всё же естество человека было сильнее. Пока сильнее.

На соседних лежаках постанывали раненые дружинники. Это был нижний зал терема. Молчаливые женщины проходили мимо с кувшинами воды, кровавыми тряпками и горшками углей, в которых краснели стальные прутья – прижигать раны.

– Всех сюда снесли, – услышал Любор голос Витко.

Тот сидел рядом, но во мраке лица его было не видно. Говорил он спокойно, иногда растирая руками ногу.

– Кто жив остался.

– А что было-то? – прошептал Любор, разлепив ссохшиеся губы.

– Хазары это. Со степей. Пришли дань требовать, а как послов их перебили, они мстью воздали. Усекли мы цену хазарской крови. Всё они сожгли, кроме терема, да княжьего дома. Половину перебили, остальная половина тут.

– А отец?

– Живой. Его сразу в кольцо, руки заломали, да к воеводе их повели. И пока наших резали, его глядеть заставляли, и условия сообщили. Дань платить будем теперь.

– Какую?

– Куниц, белок, мёда, монеты... Да как вон поляне платят. Только нам за дерзость железа дали пощупать.

– А женщин?

– Не знаю, Любор. Каких-то увели, да наши бабы бойкие – живыми не давались.

– А мать?

– Жива. И древлянка твоя...

– Что?

– Жива.

Любор улыбнулся в темноте, и, закрыв глаза, уже снова готов был угаснуть.

– Заславу убили, – продолжил Витко.

– А Варун?

– Варун в лес ушёл. Тяжко ему теперь будет, совсем один остался.

– Жалко, что так вышло.

– Вид у тебя, скажу я тебе...

– Ничего, – крикнул Любор, – Поменяется.

– Многое теперь поменяется.

– Слушай, Витко, а откуда ты всё это знаешь?

– Ты уже два дня лежишь.

На Стоянице смотреть было больно, но всё же княжич обошёл село вдоль сгоревшего частокола. От домов остались чёрные ямы, и замёрзшая кровь не меняла свой цвет. Она была всюду – белого снега не видать.

Неподалёку, близ священной рощи, где деревья стояли в пёстрых лентах и бил нетронутый морозом ключ, Любор увидел отца. Князь с юношей-помощником, топорами ломали замёрзшую землю. Яма была уже глубокой, и с обоих лился пот.

– Здравствуй, отче!

Стоян оглянулся на Любора, и то ли улыбка, то ли сожаление иссекли его морщинами. Он вздохнул и вновь принялся за работу.

– Что вы делаете?

– Будем хоронить Филиппа.

– В яме?

– По христианскому обычаю.

Рядом лежал деревянный гроб – выдолбленный в стволе, – из которого был виден длинный заострившийся нос и клочок бороды.

– Не спас его греческий бог, – заметил Любор.

Князь резко обернулся и сделал три грозных шага.

– Его, как ты сказал, греческий бог спас всех нас! Проси прощения за свои слова!

– Если ты объяснишь мне...

– Лежать бы тебе в красном снегу, как и всем нам. А что брат жив остался... А что мать или баба твоя! Без копыя, без топора, с одним крестом, вышел на конных. Вышел, встал посередь и крест вознёс. Его первый же и зарубил. А воевода хазарский, то увидев, велел тут же бой-то и закончить. Этот, говорит, не из их роду-племени. Это важный человек из великой Византии. У хазар такие же монахи ходят, и многие хазары их почитают. А кто его, слышь, зарубил – отнять оружие у того, коня отобрать, и пусть никто с ним не молвится. Ибо убил он святого человека.

– Стало быть, спас, – Любор подошёл ко гробу, – Ну прости, Филипп... Хороший был человек. Часто говорил со мной. Толково говорил.

– Я знаю, Любор. Филипп хвалил тебя. Не будь его, не послал бы я тебя в Киев к Аскольду.

– Да, отец. Жаль его.

– Нечего жалеть. Он и сейчас есть. Душа его пока здесь.

– Видимо, отец, я не знаю, как говорить с душой. И не знаю, какому богу приносить за неё жертвы. Всё поменялось к худшему.

– Ты всё скоро узнаешь, сын. Очень скоро. А пока врачуй свою руку – к весне ты мне нужен здоровым. Как тронется лёд, начнёшь сборы в Киев.

Любор откинул мысом клубень стылой земли, шевельнул плечом и удалился в княжий дом.

На брёвна, чуть тронутые снежком, клали тела. Всё поле от берега реки до лесов на холме, до которых и лошадь скакать устанет, покрылось следами людей.

Труп на брёвнах образовывал центр круга. К нему извне то и дело сновал одноглазый Везнич, шепча и покрикивая. Жрецу помогали молодые дружинники, кто мог работать. Ставили ивовые плетни вокруг, в три ряда. Женщины несли из княжьего погреба снесь на столы. Все понимали, что запасы на зиму сожжены – кочевники хазары не знали, что в сараях под крышами земледельцы хранят своё зерно. Они думали, там отсиживаются люди, запершись изнутри. А трусов хазары люто не любили. И по ошибке жгли сараи с зерном.

Все понимали, что тут, на похоронном пиршестве, они съедят последнее – то, что уцелело в доме и скотиннике князя. А дальше наступит голод, верный спутник войны, и соберёт новую жатву жизнью.

Но в этот день к себе на пир они звали саму смерть. Пусть примет участие в действе. И ей нужно показать, что живые ещё бодры и полны сил, и что не пришло пока время новых жатв.

И потому молодцы разминались перед кулачными боями, ставили мишени – соревноваться в стрельбе и метании копья. И тот, кто ещё день назад отлёживался в тереме, теперь потуже стягивал повязки на ранах, хлебал медовуху, чтобы меньше чувствовать боль, и лихо отхлопывал себя по груди. И потому столы всё же гнулись от хмельного и жирного на них. И когда первые чарки опустели, жрец Везнич подал знак – начинать.

Начали со старейшин, с воеводы Усыни, со Светлана – с тех, кто был особо почитаем в народе. Их тела получали отдельный костёр. Простых воев и гридней клали по три-четыре человека рядом – поскольку убитых оказалось больше сотни, и не было дров и места на каждого.

Обойдя толпу живых, Везнич погрозил пальцем тем из них, кто лил по усопшим слёзы.

– Ну ты это брось! А то там, – он возводил палец к небу, – подумают, что жизнь не мила, и заберут.

Помощники обходили ложа мертвецов, поднося факелы к хворосту. Но прежде, чтобы живые не видели, как огонь пожирает тела, они поджигали плетни вокруг главного костра. Получалось, что центр, на котором происходило отделение души от ненужного праха, был невидим для людских очей. Его заслоняли три стены огня и дыма. Через эти стены не могла пройти и душа – она, пометавшись в кругу пламени, вылетала в единственно доступное пространство – к небу. Иначе считалось, что бес, сидящий в теле с душой, может кинуться в первого попавшегося зеваку. А кто его знает, с чем он пожалует... Лучше не рисковать. И бес уходил в поры земли. Потому на месте кострищ долгое время ничего не росло.

Когда ивовые заборы прогорали, то и основной костёр уже сходил на нет. И только морозец начинал пахнуть палёным мясом.

– Боги забирают душу в ирей, – баяла бабка мальчику, пока тот замороженно глядел, как сгорает тело его отца, – А смерть стоит рядом, да следит за порядком. Ты, мал, поди побегай, повеселись, покажи, какой ты здоровенький – пускай смерть не глядит в нашу сторону.

– Раньше навь клали в землю, скручивали, как тебя, когда ты у мамки в пузе сидел. Теперь не так...

– От чего же это, дедушка?

– Раньше хотели, чтобы земля переродила ушедшего заново. В человека ли, птицу ли, ручей. А теперь пускай летят в ирей. Там спокойней, чем у нас.

– Дедушка, а что такое – раньше и теперь?

Во время сожжения уже не плакали, а больше пугливо и молча глядели – не увидят ли в дыме лица или знамения. Иные уже отходили к столам, принимались за медовуху, иные – бодались плечами, вызывая друг друга на бой. С дальнего конца поляны, у леса, грянули на дудках и бубнах.

Жрецы дождались, пока огонь сойдёт, и сгребали с костров кости в большие глиняные горшки. В конце лета такие горшки наполнялись плодами, а теперь служили напоминанием для ушедших предков – пускай следят в небе за дождём, в земле – за влагой. Мёртвые должны благословить будущий урожай.

Музыканты и ряженные, выкрикивая матерные слова, отгоняя нечисть, шли за жрецами. А те уносили горшки в чашу леса, где их уже ждали плотники. На высоких, с человеческий рост отёсанных пнях, громоздились избы. Малые копии настоящих, с крышами и дверьми. В них ставили горшки, клали зёрна и яйца. В народе их называли «избами смерти», и теперь к ним будут посылать юношей в день мужского посвящения. Сможет ли паренёк, привыкший к мамкиному уюту, просидеть рядом с такой избой всю ночь? А если вылезет из неё костлявая навь, а если обернётся красавицей и заманит к себе в избу, да там и сварит в горшке?

Тех, кого сжигали на общих кострах, решено было засыпать в один общий курган. И до самого утра, под вой волков и свист ветра, жрецы с помощниками возили на санях кости с обугленной плотью в кучу, засыпали снегом и мёрзлой землёй. Сани ломали и клали рядом. Тут же забили трёх коней. А потом, поседевшие и с дрожащими руками, собирались в княжьей гриднице, чтобы залить пережитый ужас брагой. И спали сутки напролёт.

Так близ Стояница выросло новое село, только населяли его мертвецы. Ещё три дня ставили вокруг него ветхий забор, а в лес, где высились ужасные избы, несли остатки еды – чтобы мёртвые ели в своих домах, привыкали к ним, и не приходили в город живых по старой привычке.

Витко сын Земовита, пахаря и смерда, с малых лет учился помогать отцу за плугом на бороздах. Умел наладить лемех, заточить серп или вытесать топориче ещё при молочных зубах.

В двенадцать лет, когда Земовит учил его разделявать тушу лося, Витко впервые задумался о верности своих знаний. Он разглядывал внутренности животного, водил пальцем по тугим плёночкам, желудочным сумкам, каналцам, вглядывался в истечение соков и как ткани от разложения меняют цвет. Отец, оттерев нож, уходил обедать и звал сына, но тот сидел очарованный сложным механизмом. Сёстры смеялись над Витко и дразнили мухой, застав его и вечером всё у той же туши.

В тот день он решил, что земля с её ключами и реками, корни деревьев с прочными волокнами, дымоход в печи, сочащийся через осоку ветер и вот это убитое тело лося – имеют неуловимое сходство. Устройство жизни едино, и жизнь повсюду.

– Но ведь я убил его, – говорил отец, опаяя шкуру, – Как же он может быть чем-то живым?

– А куда же делось то, что делало его живым? – спрашивал мальчик.

– Я попросил лешего забрать это, и дал ему хлеба. Теперь леший не будет злиться, что у него отняли зверя. И мы с тобой настреляем ещё много лосей, Витко.

– А можно ли вернуть то, что делало его живым? Вселить обратно в тушу. Везнич однажды сделал так с воином.

– Везнич сумел это сделать, покуда воин дышал. Как только дух перестаёт входить в ноздри, уже ничто не вернёт жизнь.

– То есть, жизнь – это дух? – спросил Витко.

Отец не сразу нашёлся с ответом.

– Жизнь – это хлеб, Витко. Да иди-ка ты спать. Завтра рано вставать на пашню.

Витко начал понимать, что в голове его возникает лавина вопросов, на которые никто не даёт ответа. Отец вечно уставший и только морщится, старшие сёстры смеются, матушка смотрит со страхом. Однажды он встретил жреца и, преодолевая страх, спросил его.

– Негоже тебе, сыну пахаря, совать нос. Подрастёшь, узнаешь, что положено. Как все.

И он подрастал, отвлекался играми, потом – девицами, но и с последними всё было не как у всех. Ликуша, бывшая старше его на пятнадцать лет и часто учившая мальчиков быть мужчинами, была им недовольна. Нет, он достойно проявил себя в первую ночь с ней и даже удивил наставницу пылом и ловкостью, но её насторожило другое.

– Чего ты меня всё изучаешь? – спросила она, прикрывая ладонью свой родник.

– Как удивительно мы устроены, какой умысел во всём этом!

– И какой же? – спрашивала она, кисточкой волос оглаживая его плечо.

– Вот взять хотя бы это... Что ты прикрыла. Срам исходит оттуда же, откуда и жизнь. Словно таким образом жизнь, хрупкая при рождении, таится от грубого прикосновения, от злого взгляда. Под личиной срамного, как под защитой, скрыт исток блаженства.

Ликуша приподнялась на локте и долго посмотрела на него.

– Какого беса ты пускаешь в себя? Зачем ты так говоришь?

– Разве я сказал что-то плохое?

– Нет. Наоборот. Это очень даже хорошо ты сказал. Но ты не жрец и не певун, чтобы так говорить. Ты просто молодой смерд, и как бы такие мысли не помешали тебе исправно работать! Я волнуюсь за тебя, мальчик мой. Такой юный, а держишь такие думы.

– Что ж, а может быть, мне другой удел выпал, нежели отцу?

– Удел рода не поменяешь. Ты – пахарь.

– Всё во мне говорит иначе.

– Ладно. Переболеешь, перерастёшь, – Ликуша нежно поцеловала его в живот, – От тебя уже пахнет мужем.

Но Витко не перерос, и, бывало, подолгу стоял над плугом, пока остальные пахари бороздили и удалялись, и возвращались другой межой, а он всё стоял на незаконченной борозде. Прикованный глазами к устройству сошника. И вдруг бил по нему ногой, пока тот не скашивался на бок.

– Дурмана съел, малец? – орали мужики.

А Витко стегал лошадь, вёл борозду дальше и видел, как скошенный плуг отваливает землю на сторону, и чувствовал, как земля дышит, готовая дать вдвое больше. Вечером отец портил изобретение, гнул отвал обратно и возвращал плугу былую форму.

– Только пыль царапать, – ворчал Витко.

– А ты знай своё место. Не тобой придумано, не тобой отменится!

И жрецы согласно кивали, вспоминая древнюю кощуну, ещё от скифов пришедшую, про первый плуг. Все остальные плуги должны быть, как первый, ибо нет на то указания богов, чтобы менять что-то в этой жизни.

Сидя в засаде на оленя вместе с княжичем Любором, Витко делился с ним идеями и жаловался на окостеневшие умы племени.

– Ничего, – отвечал Любор, – Придёт наше с тобой время. Не век мы в подчинении будем.

– И всё же я чту отца, и никогда не сделаю чего-то наперекор ему.

А было им тогда по шестнадцать лет. Скоро настал день посвящения в мужи, и Витко отправили одного в лес. Ему завязали глаза, завели в чащобу, где высилась на четырёх ногах

изба смерти со свежим прахом. И наказали сидеть близ неё семь ночей, а потом искать путь домой. Дали же с собой только огниво, лук со стрелами, да камень соли.

Поначалу он сидел, не шевелясь и всё прислушивался, принюхивался. Воздух пах лосем, мёдом, гнилостью палой листвы и сладостью горелой плоти в избушке.

Он не отрывал глаз от домика на пнях, и всё думал – возможно ли, чтобы вылезла оттуда мёртвая девица и заманила его к себе? Он бы не пошёл, конечно, но что если здоровый ум будет побеждён дурманом ароматов, усыплён песнями, дивными видами.

Здоровый ум – решил Витко, – вот единственное, на что стоит полагаться. Что стоит беречь, во что верить и чего держаться. А разве здоровый ум, тот который воспитан повседневным опытом, который изучал вскрытую тушу, геометрию плуга, устройство женского тела – разве этот ум допускает мертвеца, что лезет из своей домовины в мир живых? Могучее Сва, нет, конечно!

Однако оставался неподвластный уму страх. Тогда Витко решил и страх подчинить уму и победить всё тем же методом – наблюдением. Он встал и полез по сухому стволу к самой избушке.

В стружьях редкой коры, ствол пах смолой, впитавшей солнце, а у самой двери в избу пахло едкой пылью. Витко чихнул, и птицы слетели с ветвей, а в избе было тихо. Кости, затянутые толстым слоем паутины, лежали мирно. Насекомые и грызуны давно уже обточили последнюю плоть, унесли зерно подношений, а в крынке с густым мёдом было черным-черно от мух. Витко даже раздосадовался – неужели больше ничего не будет?

Он осмелился выказать голос:

– Мир праху, кто бы ни был!

Прах не ответил.

Оставшиеся дни Витко посвятил охоте, готовке пищи и поддержанию костра. Путь домой был лёгок. Стоянище отыскалось быстро – солнце всегда в это время года проходит южнее, стало быть, буду держать направо.

Он спускался с холма, синяя чаща осталась позади, а у подножья дымили родные очаги. Всё дышало тихой ясностью, и Витко даже начал терять себя – неужели мир такой понятный? До обидного доступный. Интересный, разный, но и живые, и мёртвые не хранят в себе никаких тайн, а сны и сказы – ошибка, неверная дорожка. Чистый ствол без коры – неужели мир такой? Что-то в нём упиралось и не желало такой неприкрытости мирового тела.

Начало смеркаться, и в поле он увидел девушку. Она длинным прутом гнала коз, заодно собирая последние луговые цветы, она пела, и глубокий молодой голос плыл в свежих сумерках. Заметив Витко, девушка насторожилась, убрав за спину венок и прут. Но вскоре признала его.

До этого они виделись всего раз или два – девушка жила у реки, в доме кузнеца Варуна, и не часто ходила на торжища и стогна. Всё больше проводила времени в полях или пряла лён с матерью, Заславой, или с братом Лесобором в рощах и на берегу. Немного дикая, почти не знавшая других девиц, она росла в тишине и строгости отцовского воспитания. И хрупкие, нежные черты лица говорили об этом. Брови белые, щёки будто бы в пуху. Пояс перехватывал рубаху в узкой талии, поднимая высоко маленькие ещё только наметившиеся грудки. Роста она была невысокого, но уже ладно сложена. Ей едва исполнилось тринадцать.

– Здравствуй! – Витко издали вскинул руку, а девица ждала его молча.

В синих от темноты глазах было замешательство, затем стыдливость опущенных век, и, наконец, смелый взгляд их вспыхнул восторгом, и снова погас под ресницами.

На миг ему представилась птаха, что насторожилась и готова вот-вот улететь.

– Ты же дочь кузнеца?

– Да.

– Как тебя зовут?

– Полея.

– А я – Витко. Пошли, я провожу тебя до дома – уже темно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.